ИСАКОВ АЗАМАТ

Вор твоей благодарности



роман

Азамат Исаков

Вор твоей благодарности

«Автор»
2026

Исаков А.

Вор твоей благодарности / А. Исаков — «Автор», 2026

Он никогда не приходит ночью. Он приходит, когда ты говоришь «потом».Он забирает несказанное «спасибо», отложенное объятие, звонок маме, который ты перенёс на выходные. Он вежлив, терпелив и никогда не спешит. Он просто подбирает то, что ты сам оставил без присмотра.Мальчик из приюта, который перестал петь. Девочка, которая стесняется своей мамы. Старик, который пятьдесят лет молчит о самом главном. Один год в Сиэтле, от первого снега до следующего, и один невидимый гость рядом с каждым из них.А что он уже забрал у вас?

© Исаков А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Пролог. Хранилище 6
Часть первая. Зима. Мелочь 9
Глава 1. Снег за окном 9
Глава 2. Обычная жизнь 16
Глава 3. Две серые галочки 24
Глава 4. Ужин в 19:40 30
Глава 5. Чайник 35
Опись I 40
Глава 6. Как это было с ним 41
Конец ознакомительного фрагмента. 43

Азамат Исаков
Вор твоей благодарности

Исаков Азамат

Вор твоей благодарности

Роман

Аннотация

Он никогда не приходит ночью. Он приходит, когда ты говоришь «потом».

Он забирает несказанное «спасибо», отложенное объятие, звонок маме, который ты перенёс на выходные. Он вежлив, терпелив и никогда не спешит. Он просто подбирает то, что ты сам оставил без присмотра.

Мальчик из приюта, который перестал петь. Девочка, которая стесняется своей мамы. Старик, который пятьдесят лет молчит о самом главном. Один год в Сиэтле, от первого снега до следующего, и один невидимый гость рядом с каждым из них.

А что он уже забрал у вас?

© Исаков Азамат Камурзаевич, 2026. Все права защищены.

12+

За всё благодарите.

— 1-е послание к Фессалоникийцам, 5:18

Самое дорогое у человека крадут не тогда, когда он спит, а когда он смотрит в другую сторону.

Пролог. Хранилище

Есть дом, у которого нет дверей. Не потому, что их забыли построить, а потому, что в него никто никогда не стучался.



Он стоит не под землёй и не на небе, а в той стороне, куда люди не смотрят. Туда уходят вещи, которые человек положил на минутку и больше о них не вспомнил: очки, оставленные на подоконнике в чужом доме, недочитанное письмо, слово, которое собирался сказать за ужином, но передумал, потому что все устали.

Внутри тихо. Не так тихо, как в библиотеке, где тишину берегут, и не так, как ночью в больничном коридоре, где тишина чего-то ждёт. Здесь тишина просто лежит, слой за слоем, как пыль на шкафу, до которого никто не дотягивается.

Полки уходят вверх — дальше, чем видит глаз, и вглубь — дальше, чем хватает воображения. Они деревянные, старые, потемневшие, и на каждой стоят вещи. Маленькие. Почти ничего не весящие. Банки с притёртыми крышками, картонные коробочки, аптечные пузырьки, конверты без марок. На каждой — бирка, подписанная ровным почерком с наклоном вправо. На старых бирках чернила выцвели до цвета слабого чая. На новых ещё блестят.

«Рассвет. 14 апреля 1998 года. Портленд, штат Орегон. Изъят у мужчины 34 лет по дороге на работу. Не замечен».

В банке с этой биркой действительно есть свет — бледно-розовый, слоистый, какой бывает над рекой минут за двадцать до того, как солнце покажется целиком. Свет медленно поворачивается за стеклом, как рыба в слишком маленьком аквариуме, и не находит выхода.

Рядом — коробок из-под спичек. «Смех. Три с половиной секунды. Изъят у девочки девяти лет за обеденным столом после слов “не чавкай”. Возврату не подлежит».

Если приложить коробок к уху, можно услышать, как смех начинается — звонкий, с переливом, — и как он обрывается на середине, будто кто-то закрыл дверь.

Ниже, на отдельной полке, — конверт. Внутри одна строчка, и написана она чужой рукой: торопливой, мужской, с сильным нажимом. «Позвоню в воскресенье». На бирке: «Отложено 11 марта 2009 года. Воскресенье не наступило».

Таких конвертов в Хранилище целый стеллаж. Он тянется так далеко, что его конец теряется в сумраке. «Заеду на выходных». «Скажу ей завтра». «Летом обязательно съездим к отцу». «Когда всё уляжется». «Потом». «Потом». «Потом».

На одном из конвертов кто-то когда-то пытался стереть слово ногтем. Не получилось.

Между полками ходит он.

Его шагов не слышно, хотя он высок — выше любого, кто когда-либо жил на земле, — и идёт неторопливо, как ходят люди, которые никогда никуда не опаздывают. Издалека его можно принять за тень от стеллажа. Вблизи становится видно, что тень эта движется сама по себе: густая, медленная, похожая на дым от только что погасшей свечи в холодной комнате. По краям она чуть дрожит, как воздух над асфальтом в жаркий день.

Если смотреть на него достаточно долго — а этого не делал никто, — дымка складывается в мужчину. Длинное тёмное пальто без единой складки. Тонкие перчатки. Белая полоска воротника. Прямая спина. Лицо видно так, как видно лицо человека за мокрым стеклом автобуса: высокий лоб, спокойные глаза, тень улыбки в углу рта. Потом стекло будто запотевает, и описать его уже невозможно.

От него пахнет остывшим чаем и комнатой, где давно не открывали окно.

Он останавливается у банки с рассветом и чуть поворачивает её, чтобы бирка смотрела ровно вперёд. Он любит порядок. Он не жаден — жадность казалась ему чем-то вульгарным, вроде громкого смеха в церкви. Он ничего не ломает и ничего не отнимает силой. Он вообще никого никогда не касался.

Он просто подбирает то, что лежит без присмотра.

В кармане его пальто, во внутреннем, глубоком, как колодец, что-то тихо позвякивает при каждом шаге — словно банка с пуговицами в бабушкином шкафу. Там то, что ещё не разложено по полкам.

В конце прохода стоит конторка, а на ней лежит толстая книга в потёртом кожаном переплёте. Он открывает её на чистой странице, снимает перчатку с правой руки — рука под ней такая же дымчатая, только чуть плотнее — и пишет тем же ровным почерком с наклоном вправо:

«Опись. Ноябрь».

Ниже, подумав, он ставит подпись. Не имя — имени у него нет, или он давно его не помнит. Просто слово:

«Хранитель».

Он всегда подписывается так. Вором его называли люди — изредка, в те минуты, когда вдруг понимали, сколько у них пропало. Но люди многое называют неправильно. Вор — это тот, кто забирает нужное. А он брал только то, чем не пользовались. Утро, на которое не взглянули. Слово, которое не сказали. Время, которое держали в руках и не замечали, как держат в кармане ключи от дома, куда давно не ходят.

Если вы этого не замечаете, думал он, то зачем оно вам?

Он никогда не произносил эту мысль вслух. В этом не было нужды.

Он надевает перчатку и достаёт из жилетного кармана часы на цепочке. Старые, золотые, с тонкой гравировкой на крышке. Он открывает их. Циферблат белый, с цифрами, — но стрелок на нём нет.

Часы тикают.

Он подносит их к уху и прислушивается, как врач слушает дыхание. Тиканье неровное. Оно то затихает, то становится громче — и громче всего тогда, когда он поворачивается в одну определённую сторону. Там кто-то только что сказал «потом». Потом ещё кто-то. И ещё.

Он закрывает крышку и идёт к единственному окну Хранилища.

За окном — ночной город на берегу холодного залива. Мокрые крыши, мачты рыбацких лодок у причалов, мосты, огни паромов, медленно ползущих по чёрной воде. Сиэтл. Здесь почти всегда идёт дождь, и люди так привыкли смотреть себе под ноги, на лужи, что почти не поднимают головы.

Но сегодня дождь меняется. Капли в свете фонарей замедляются, тяжелеют, начинают кружиться. Над городом впервые за три года идёт снег.

Он смотрит в окно, и окна города смотрят на него.

В одном из них, на окраине, в низком здании с решёткой на первом этаже, не спит мальчик. Он сидит на подоконнике, поджав колени, и прижимается лбом к холодному стеклу, чтобы ничего не пропустить.

В маленьком доме на холме, в квартале, где пахнет морем и рыбой, на кухне горит свет. Старик в клетчатом халате высыпает на ладонь таблетки и запивает их водой, стараясь не греметь стаканом, чтобы не разбудить жену. Жена не спит. Она лежит и слушает, как он старается.

В спальне на третьем этаже дома в другом конце города лежат двое. Они лежат спиной друг к другу, и между ними на простыне такая полоса пустоты, что в неё поместился бы третий человек.

Под одеялом в детской светится экран телефона. Девочка листает чужие фотографии, и с каждой фотографией её лицо становится чуть старше и чуть печальнее.

В студенческом общежитии девушка пишет кому-то сообщение, стирает, пишет снова и улыбается так, будто впереди у неё вся жизнь. Это правда. Только жизнь, как всё, что впереди, имеет свойство однажды оказаться позади.

А в автобусном парке, где через несколько часов загудят двигатели, ещё темно и пусто. Но где-то в маленьком доме уже заведён будильник на 4:40.

Он смотрит на всё это долго, внимательно, почти с нежностью. Так коллекционер смотрит на витрину антикварной лавки.

— Много работы, — говорит он негромко.

Голос у него приятный. Низкий, спокойный, вежливый. Голос человека, которому хочется верить.

Он поправляет воротник, застёгивает пальто на все пуговицы, хотя холод ему не страшен, и выходит в ночь — туда, где нет дверей.

Снег падает сквозь него и не тает.

Снег шёл всю ночь. К утру город проснулся белым, тихим, непривычно чистым. Большинство жителей Сиэтла, выглянув в окно, первым делом подумали о том, что придётся счищать снег с машин и что автобусы опоздают.

Большинство.

Но не все.

Часть первая. Зима. Мелочь

Глава 1. Снег за окном

Ноа Беннетт проснулся оттого, что мир стал тихим.



Обычно по утрам в «Хиллсайде» было много звуков. Гудел старый холодильник в коридоре. Капало с крыши в жестяной жёлоб — кап, кап, пауза, кап, — и Ноа знал этот ритм так хорошо, что мог по нему угадать, сильный ли идёт дождь. По улице за забором шуршали шины, и шорох был мокрый, длинный, как будто машины не ехали, а плыли. В соседней комнате кашлял кто-то из старших. Тео, который спал на кровати у двери, во сне скрипел зубами.

А сейчас не было ничего.

Ноа открыл глаза и долго лежал, прислушиваясь. Холодильник гудел. Тео скрипел. Но жёлоб молчал, и машин не было слышно вовсе, и сама темнота за окном была какая-то другая — не чёрная, как всегда в ноябре, а серо-голубая, мягкая, словно кто-то положил на стекло лист папиросной бумаги.

Он вспомнил. Ночью он сидел на подоконнике. Он видел, как капли в свете фонаря вдруг перестали падать прямо и начали кружиться, как стали медленными и белыми. Он сидел и смотрел, пока не замёрзли ноги, а потом, кажется, уснул прямо там, и кто-то — наверное, мистер Доусон на обходе — перетащил его на кровать. Или он сам дошёл. Он не помнил.

Ноа выскользнул из-под одеяла. Пол был ледяной, линолеум с узором из бежевых квадратов, и он пошёл к окну на цыпочках, на самых кончиках пальцев, как будто так было меньше холода.

За окном всё было белое.

Забор из сетки-рабицы стал белым кружевом. Мусорные баки у ворот надели белые шапки. Старый «Форд» соцработника Маркуса, который всегда стоял на одном и том же месте у клёна, превратился в сугроб с зеркалами. Сам клён, голый с октября, теперь держал на каждой ветке по тонкой белой полоске, и от этого казалось, что его нарисовали заново, аккуратнее, чем раньше.

А с неба всё ещё падало. Не много — редкие, крупные хлопья, которые не спешили. Одна снежинка опустилась прямо на стекло перед его лицом, и Ноа увидел её целиком: шесть лучиков, на каждом ещё лучики, а в середине — крошечная звёздочка. Он затаил дыхание, чтобы не растопить её. Снежинка продержалась секунды три, а потом стала капелькой и съехала вниз.

— Ого, — сказал Ноа шёпотом. Сказал никому. Просто воздуху.

Он знал, что в Сиэтле снег бывает редко. Мисс Пэк, учительница, рассказывала, что город стоит у тёплого моря, и море не даёт ему замёрзнуть, как одеяло. В прошлый раз снег шёл, когда Ноа было семь, и он тогда болел и видел его только из окна медпункта. А до этого — он не помнил. Может, никогда.

Он забрался на подоконник, подтянул колени к груди и натянул на них свитер. Свитер был серый, с белыми оленями на груди, и раньше принадлежал кому-то другому — какому-то мальчику, который вырос из него и уехал. Рукава были такие длинные, что Ноа подворачивал их дважды. Он любил этот свитер. Олени на нём бежали куда-то влево, все вместе, и у одного был отпорот рог, а кто-то давным-давно аккуратно пришил его обратно голубой ниткой.

Ноа смотрел на снег, и в нём само собой начало что-то тихо звучать. Он даже не замечал, когда это начиналось. Просто в какой-то момент понимал, что напевает — без слов, сквозь сомкнутые губы, какую-то мелодию, которую, может быть, никто никогда раньше не пел. Она шла вверх, потом вниз, потом снова вверх, как будто тоже кружилась.

— Ты чего воешь, — пробурчал Тео из-под одеяла.

— Тео. Тео! Посмотри.

— Не хочу.

— Там снег.

Одеяло замерло. Потом взлетело, и из-под него вынырнула лохматая рыжая голова. Тео было восемь, у него были веснушки даже на ушах, и он никогда в жизни не делал ничего медленно.

— Врёшь.

Но он уже был у окна, отпихивал Ноа плечом, прижимался носом к стеклу, и стекло затуманилось от его дыхания, и он стёр туман рукавом пижамы.

— Ничего себе, — сказал Тео благоговейно. — Ничего себе. Это же… это же значит, школы не будет!

Ноа об этом не подумал. Ему было всё равно, будет школа или нет. Ему просто нравилось смотреть.

— Наверное, — сказал он.

— Наверное! — передразнил Тео. — Точно! В прошлый раз три дня не было! Мне Джейден говорил! Мы будем делать снеговика! Огромного! Нет — крепость! Нет — и снеговика, и крепость, и…

Он говорил и говорил, а Ноа смотрел, как на заборе сидит ворона. Она была чёрная-чёрная на белом, и снег падал ей на спину, и она каждый раз встряхивалась, недовольно, будто снег был лично её оскорблением. Потом ворона наклонила голову и посмотрела прямо на их окно. Ноа помахал ей. Ворона не помахала в ответ, но и не улетела, и Ноа решил, что это почти одно и то же.

* * *

Мария пришла позже обычного.

Обычно она появлялась на кухне в шесть, ещё в темноте, и к тому времени, как дети спускались к завтраку, там уже пахло кофе для взрослых, корицей и тёплым хлебом. Но сегодня автобусы шли медленно, и когда Ноа в половине восьмого спустился по лестнице — первым, как всегда, — кухня была ещё тёмной и холодной, а дежурная воспитательница миссис Олсен, ворча, искала в шкафу хлопья.

А потом хлопнула задняя дверь, и вместе с холодом и запахом улицы в кухню ввалилась Мария.

Она была большая, круглая, румяная, в пуховике цвета спелой сливы, и на капюшоне у неё лежал снег — целая шапка снега, как на мусорных баках. Она топала ногами на коврике, сбивая снег с ботинок, и отдувалась, и смеялась.

— Сорок минут! — объявила она всей кухне. — Сорок минут от Рейнир-Вэлли! Водитель ехал, как будто вёз яйца. А одна дама на остановке упала прямо на… — Тут она увидела Ноа и улыбнулась ещё шире. — О. Привет, ранняя птичка. Ты видел? Ты видел, что творится?

— Видел, — сказал Ноа, и ему вдруг стало очень хорошо от того, что кто-то ещё видел то же самое и радовался так же. — Я ночью видел. Как он начинался.

— Ночью? — Мария расстёгивала пуховик, и снег с капюшона сыпался на пол. — А ты почему не спал ночью, а?

Ноа пожал плечами. Он не знал, как объяснить. Он просто проснулся и почувствовал, что сейчас случится что-то, что нельзя пропустить.

Мария не стала допытываться. Она вообще редко допытывалась. Она повесила пуховик на крючок у двери, натянула белый фартук, который едва сходился на её животе, и включила все лампы сразу. Кухня ожила. Загудела вытяжка. Зашипела кофеварка. Мария достала из холодильника тесто, которое замешала вчера вечером, и Ноа сел на свой табурет в углу, у батареи, откуда было видно всё.

Он любил смотреть, как она работает. У неё были быстрые, ловкие руки — маленькие, хотя сама она была большая. Пальцы короткие, с обручальным кольцом, которое она снимала и вешала на гвоздик над раковиной, когда месила тесто. Она месила его так, будто с ним разговаривала: сильно, но не зло. Потом резала на части, и каждая часть превращалась в круглую булочку, и булочки ложились на противень ровными рядами, как солдатики.

— А у вас дома тоже снег? — спросил Ноа.

— Ещё какой. Мой муж в пять утра чистил машину соседа, потому что у соседа спина. А потом выяснилось, что сосед никуда не едет. — Она засмеялась. — Хави чуть не лопнул.

— А… дочка ваша видела?

Он знал, что у Марии есть дочь. Она иногда про неё рассказывала: Лили, четырнадцать лет, рисует, учится в восьмом классе. Ноа представлял её себе очень красивой и немного похожей на принцессу из книжки, которую Нина читала им по субботам. Он никогда её не видел.

Мария на секунду перестала раскладывать булочки.

— Лили? — Она вздохнула, и вздох был короткий, почти незаметный. — Лили спит. Ей до снега дела нет, пока её не разбудят. А когда разбудят — ей будет дело до того, что у неё волосы от сырости вьются. — Она покачала головой и снова улыбнулась, но уже по-другому, тише. — Четырнадцать лет. Ничего. Перерастёт.

Ноа не очень понял, что это значит. Он подумал, что если бы у него был снег и мама, которая чистит снег с чужой машины, он бы не спал. Он бы вообще никогда не спал. Но он ничего не сказал.

Когда первый противень вынули из духовки, кухня наполнилась таким запахом, что у Ноа заныло в животе. Мария сняла одну булочку — самую крайнюю, у которой бок подрумянился сильнее остальных, почти до корочки, — разломила её пополам и протянула ему ту половину, что с корочкой.

— Краешек, — сказала она. — Твой.

Она всегда отдавала ему краешек. С самого первого дня, как пришла в «Хиллсайд» два года назад. Однажды он сказал ей, что корочка — самое вкусное, потому что она хрустит, а внутри мягко, и получается два вкуса сразу. Мария тогда посмотрела на него как-то странно, долго, а на следующий день отложила ему краешек. И с тех пор — каждый день.

Ноа держал булочку двумя руками. Она обжигала пальцы, и он перекладывал её из ладони в ладонь, и дул на неё, и пар поднимался в тёплом воздухе кухни. За окном падал снег. Мария напевала что-то по-испански, тихо, себе под нос, точно так же, как он сам напевал утром, — и Ноа вдруг подумал, что это, может быть, самое лучшее утро в его жизни.

Он откусил. Корочка хрустнула.

Да. Самое лучшее.

* * *

Школу, конечно, отменили.

К десяти утра весь двор «Хиллсайда» был истоптан, изрыт и исписан следами. Тео носился кругами, как щенок, падал лицом в снег и вставал облепленный, хохоча. Девочки — Ава и близнецы Морено — лепили что-то, что они упрямо называли лебедем. Маркус, молодой соцработник, вышел на крыльцо с кружкой кофе, получил снежком в плечо от кого-то из средних, поставил кружку на перила и через минуту уже стоял за бочкой с дождевой водой, отстреливаясь и крича: «Это война! Вы сами начали!»

Маркусу было двадцать четыре. Он носил очки в толстой оправе и шапку с помпоном, которую ему связала бабушка, и он ещё не научился уставать. Ноа он нравился. Маркус всегда запоминал, что ты говорил ему на прошлой неделе, и спрашивал: «Ну что, дочитал про пиратов?» Взрослые обычно не запоминали.

Ноа в войне не участвовал. Он нашёл себе место у дальнего края забора, где снег лежал нетронутый, гладкий, как простыня, и сел на корточки.

Он лепил маленькую фигурку — не снеговика, а человечка, ростом с ладонь. Голова, тело, ручки из сломанной веточки. Вместо глаз — две крошечные чёрные ягоды с куста у ворот. Он работал очень сосредоточенно, высунув кончик языка. Человечек получался кривой, одна рука длиннее другой, но Ноа это не беспокоило. Он посадил его на столбик забора, лицом к улице.

Потом расстегнул молнию куртки, сунул руку во внутренний карман свитера — там был специальный кармашек, который он сам пришил прошлой зимой, криво, большими стежками, — и достал компас.

Компас был маленький, латунный, размером с крышку от банки варенья. Латунь потемнела от времени и была покрыта мелкими царапинами, как кожа у очень старого человека. Стекло пересекала трещина — тонкая, от края до середины, похожая на молнию. Ноа нашёл его прошлым летом, когда их возили на пляж Алки. Он копал в гальке у самой воды и вдруг увидел, как что-то блеснуло. Остальные искали ракушки и крабов. А он нашёл компас.

Он никому не рассказывал, что думает про компас. Но думал он вот что: стрелка показывает не просто на север. Она показывает туда, где дом. Его дом. Настоящий. Тот, где когда-то была тёплая ладонь у него на голове — единственное, что он помнил про маму. Если идти туда, куда показывает стрелка, долго-долго, может быть, когда-нибудь придёшь.

Он знал, что это глупо. Ему было десять, а не пять. Он знал, что компасы показывают на магнитный полюс, мисс Пэк объясняла. Но знать и думать — это были разные вещи, и одно другому не мешало.

Он положил компас на ладонь и подождал, пока стрелка перестанет дрожать.

Стрелка показывала на улицу. Через забор, мимо снежного человечка, мимо белого клёна и дальше, туда, где за крышами в сером небе прятались горы.

— Привет, — сказал Ноа человечку. — Ты сторожишь. Ладно?

Человечек смотрел на улицу своими ягодными глазами и не возражал.

* * *

Старшие вернулись в пятом часу.

У них школа тоже отменилась, но они ушли сразу после обеда — куда-то к торговому центру, хотя выходить без разрешения было нельзя. Миссис Олсен об этом знала. Все знали. Миссис Олсен было шестьдесят два года, и у неё болели колени, и она давно решила, что некоторые вещи проще не знать.

Ноа услышал их, ещё когда сидел в общей комнате над книжкой. Хлопнула входная дверь. По коридору покатился смех — не такой, как у Тео, не круглый, а с острыми краями. Кто-то громко выругался. Кто-то пнул что-то металлическое, и оно со звоном покатилось.

И шаги.

Ноа знал эти шаги. Он узнал бы их из тысячи. Тяжёлые, неторопливые, чуть шаркающие, потому что Коул никогда не завязывал шнурки до конца. Шаги человека, которому некуда спешить, потому что всё, что ему нужно, никуда от него не денется.

Ноа почувствовал, как улыбка сама сходит с его лица. Он не убирал её специально. Она просто уходила, как уходит вода из ванны, когда вынимаешь пробку, — медленно, а потом сразу.

Он закрыл книжку. Положил её на полку. Поднялся и пошёл к лестнице — не быстро, потому что быстро нельзя, быстро значит, что ты боишься, а если видно, что ты боишься, будет хуже. Он поднялся на второй этаж. В комнате никого не было: Тео ещё торчал во дворе с Маркусом, доделывал крепость.

Ноа достал из кармашка компас и быстро, не глядя, сунул его под матрас. В то место у самой стенки, где пружина продавила дыру, и туда можно было просунуть руку по локоть. Потом лёг на кровать, лицом к стене, натянул одеяло до ушей и закрыл глаза.

Он лежал и слушал.

Сердце билось так громко, что ему казалось, его слышно в коридоре. Он старался дышать медленно, как спящий. Вдох. Выдох. Вдох. Он думал о снеге. О человечке на заборе. О краешке булочки. Он думал: может быть, сегодня не придут. Вчера не приходили. Позавчера не приходили. Может быть…

Дверь открылась.

Ноа не повернулся. Он смотрел в стену, на трещину в краске, похожую на реку на карте, и считал её притоки. Один. Два. Три.

— Смотри-ка, — сказал голос. Низкий, ленивый, почти дружелюбный. — Спит. В пять часов вечера.

Кровать прогнулась: кто-то сел на край. Ноа почувствовал запах — сигареты, мокрая куртка, снег и ещё что-то, сладкое, химическое, как от жвачки.

Коулу было пятнадцать. Он был высоким — в дверях ему приходилось чуть пригибать голову — и широким в плечах, как взрослый мужчина. Над правой бровью у него был шрам, белый и неровный. Голову он брил почти наголо, и от этого его глаза казались очень светлыми и очень пустыми. Он почти никогда не кричал. Кричали те, кто ходил с ним. А Коул говорил тихо, и от этого было страшнее.

— Беннетт, — сказал Коул. — Ты меня слышишь?

Ноа молчал.

Рука легла ему на ухо. Не ударила — просто легла. Тяжёлая, холодная с улицы. А потом пальцы сжались и дёрнули — не сильно, не до боли, а так, чтобы он понял, что может быть и до боли.

Ноа открыл глаза.

— Вот, — довольно сказал Коул. — Проснулся. Доброе утро, солнышко.

В дверях стояли ещё двое — Дилан и толстый Брэкстон, — и Брэкстон хихикнул.

— Я тут слышал, — продолжал Коул всё тем же мягким голосом, — что у тебя есть одна штучка. Блестящая. Сидишь там у забора, разговариваешь со снегом, как придурок, и любуешься.

Ноа ничего никому не показывал. Он был один у забора. Но он вдруг понял, что из окна второго этажа, из комнаты старших, двор виден целиком.

— Нет у меня ничего, — сказал он. Голос получился тонким, совсем не таким, каким он хотел.

— Нет? — Коул поднял брови. Шрам над правой бровью дёрнулся. — Ну, нет так нет.

Он встал. Ноа на секунду поверил, что всё — что сейчас он уйдёт. Но Коул не ушёл. Он просто стоял и смотрел на кровать. На матрас. На то место у стенки.

И Ноа понял, что смотрит туда же. Что он сам, своими глазами, только что показал.

Коул улыбнулся.

Он наклонился, просунул руку в дыру у стенки — уверенно, как будто знал это место всегда, — и пошарил там. Потом рука вынырнула обратно, и в ней блеснуло.

— Ну надо же, — сказал Коул. — Нет у него ничего.

Он поднёс компас к лицу, повертел. Щёлкнул ногтем по стеклу — прямо по трещине.

— Хлам, — сказал он. — Стекло треснутое. Где взял?

Ноа молчал. Горло у него сжалось так, что он не смог бы сказать ни слова, даже если бы захотел.

— Украл, небось, — сказал Брэкстон из дверей.

— Не украл, — вдруг сказал Ноа. Слова вырвались сами. — Нашёл. Он показывает…

Он осёкся. Но было поздно.

— Показывает? — Коул с интересом посмотрел на него. — Чего показывает?

— Север, — прошептал Ноа.

— Север, — повторил Коул задумчиво. Он положил компас на ладонь и подождал, пока стрелка успокоится. Посмотрел, куда она указала. — А зачем тебе север, Беннетт? Ты куда-то собрался?

Ноа не ответил.

Коул медленно сжал пальцы, и компас исчез у него в кулаке.

— Вот и я думаю, что никуда, — сказал он. И сунул кулак в карман куртки.

В коридоре мелькнул свет фонарика — мистер Доусон начинал вечерний обход. Луч скользнул по полу, остановился на двери, высветил три фигуры в ней. На секунду повис в воздухе, словно раздумывая.

И пошёл дальше.

Шаги мистера Доусона, неторопливые, шаркающие, удалились в сторону лестницы. Где-то внизу хлопнула дверь его будки.

— Спокойной ночи, Беннетт, — сказал Коул. Он похлопал Ноа по щеке — дважды, легко, почти ласково. — Сладких снов.

Они ушли. Дверь осталась открытой.

* * *

Ноа долго лежал не двигаясь.

Потом сел. Посмотрел на дыру в матрасе, будто компас мог вернуться туда сам, если очень захотеть. Сунул руку внутрь. Пружины. Пыль. Какая-то бумажка. Больше ничего.

В животе было пусто и холодно, как будто он проглотил снежок, и снежок там не таял.

Он встал и подошёл к окну. Снаружи было уже темно. Фонарь у ворот горел жёлтым, и в его свете ещё падали последние редкие хлопья. Двор был истоптан до грязи. Крепость, которую строили Тео с Маркусом, стояла кривая, наполовину развалившаяся. Лебедь девочек оказался больше похож на гуся.

Ноа поискал глазами своего человечка на заборе.

Столбик был пустой. Кто-то сбил человечка — может быть, нечаянно, а может быть, нет. Внизу, на снегу, Ноа разглядел маленькую бесформенную горку и две чёрные точки рядом с ней — ягоды, которые раньше были глазами.

Он смотрел на них долго. А потом заметил, что в окне, в тёмном стекле, кроме его собственного отражения, есть что-то ещё.

За его спиной, в открытом дверном проёме, стоял кто-то высокий. Очень высокий — головой почти под самую притолоку. Ноа не видел лица. Только силуэт, тёмный и мутный, как дым, и белую полоску у горла, похожую на воротник.

Ноа не обернулся. Он и сам не знал почему. Может быть, потому, что боялся. А может быть, потому, что где-то в глубине души ему показалось, что если обернуться, там никого не будет, и тогда станет ещё страшнее.

В комнате вдруг запахло — едва-едва — остывшим чаем. И стало холоднее, словно кто-то открыл окно, которое было закрыто.

А потом совсем рядом, у самого уха, кто-то сказал тихо и почти сочувственно:

— Запомни это.

Ноа зажмурился. Когда он открыл глаза, в стекле было только его отражение — маленький мальчик в свитере с оленями, с красными ушами — и чёрный двор за ним.

Дверь в коридор была закрыта.

Он не помнил, чтобы кто-то её закрывал.

Ноа забрался в кровать, не раздеваясь, прямо в свитере, и натянул одеяло на голову. В соседней комнате засмеялись старшие. Внизу хлопнула дверь — пришёл с улицы Тео, громко рассказывая кому-то про крепость. Где-то гудел холодильник. По жёлобу снова застучало: кап, кап, пауза, кап. Снег превращался обратно в дождь.

Ноа лежал в темноте и не напевал. Он даже не заметил, что не напевает. Он лежал и думал о том, где сейчас его компас, и что с ним сделают, и о том, что надо было лучше прятать. Надо было не смотреть на матрас. Надо было не ходить к забору. Не доставать его на улице. Не радоваться так громко.

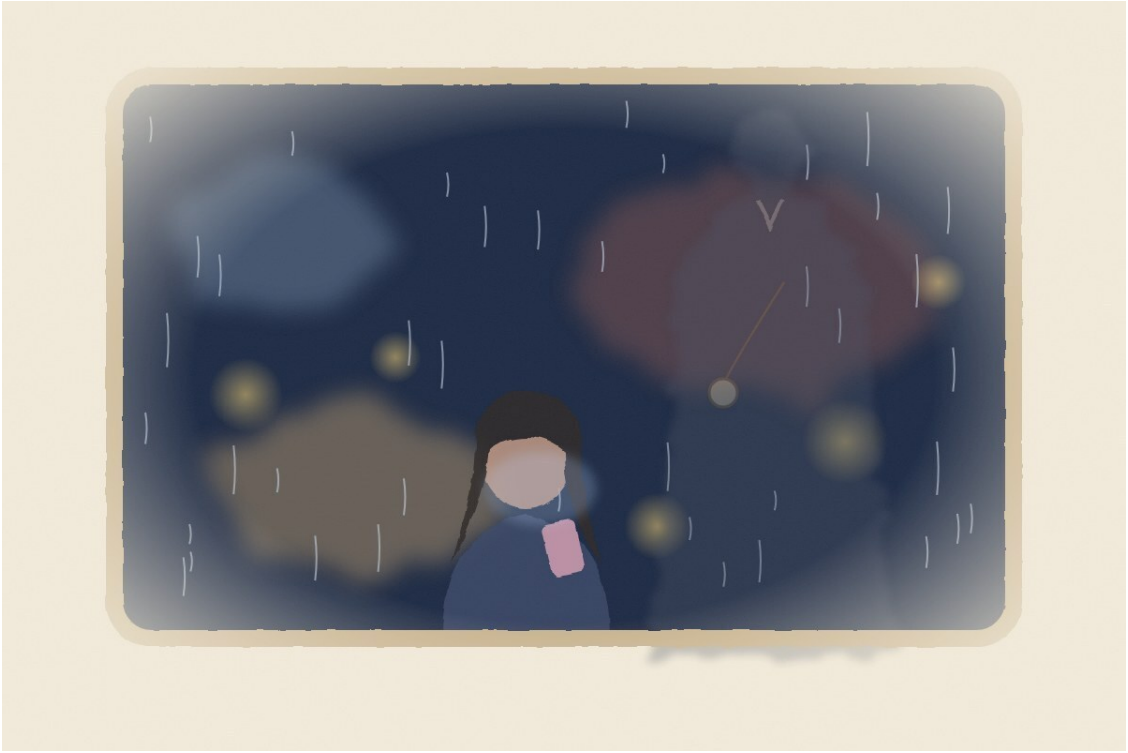
Он думал об этом очень долго — и запоминал.

А утро — лучшее утро в его жизни, с первым снегом, тёплой булочкой из рук Марии и снежинкой на стекле — уже тихо уходило из памяти. Оно уходило туда, куда уходит всё хорошее, о чём человек перестаёт думать, потому что думает только о плохом.

Он не заметил и этого.

Глава 2. Обычная жизнь

В 4:40 в соседней комнате зазвонил будильник.



Звонил он недолго — две, от силы три секунды, — потому что папа всегда ставил телефон на тумбочку у самой подушки и успевал схватить его раньше, чем звук разрастался. Лили давно знала эту последовательность наизусть, хоть и слышала её сквозь сон. Щелчок. Скрип кровати. Шлёпанье босых ног по коридору. Тихий кашель. Вода в ванной — ровно минуту. Потом кухня: чайник, ложка о стенку кружки, шорох пакета с хлебом. Потом прихожая, куртка, ключи, которые он всегда придерживал в кулаке, чтобы не звенели.

И дверь. Её он закрывал медленно, придерживая ручку до самого конца, так, чтобы замок щёлкнул еле слышно.

Когда Лили была маленькой, она иногда просыпалась от этого щелчка и бежала к окну, и смотрела, как внизу, под фонарём, папа идёт к остановке, высокий, сутулый, с термосом под мышкой. Он всегда оборачивался на углу и поднимал руку — знал, что она в окне. Иногда её не было. Он всё равно оборачивался.

Сейчас Лили не просыпалась. Она только переворачивалась на другой бок, натягивала одеяло на голову и думала сквозь сон: «Можно же потише».

Во второй раз она проснулась в 6:50 — от своего будильника, который звонил долго, настойчиво, мелодией, которую она поставила месяц назад и уже ненавидела. Лили нашарила телефон под подушкой и выключила его, не открывая глаз. Потом открыла.

Первым делом — телефон.

Она даже не думала об этом. Рука сама поднесла экран к лицу, большой палец сам разблокировал его, сам открыл приложение. Экран засветился в темноте комнаты, и лицо у Лили стало голубоватым, как у утопленницы.

Сорок три новых уведомления в классном чате. Лили пролистала, не читая. Кто-то скинул мем. Кто-то спрашивал про домашку по химии. Мэдисон написала «лол» под чьей-то фотографией, и под её «лол» было восемь сердечек.

Потом истории.

Брук, 23:14: тарелка с десертом, на тарелке шоколадный соус выведен в виде сердечка, подпись «вечер, который мы заслужили». Брук, 23:52: её собственное отражение в зеркале лифта, губы бантиком, новая куртка. Брук, 00:30: огни города с высоты, какое-то окно, какой-то очень высокий этаж.

Лили смотрела на огни дольше, чем на всё остальное. Она не знала, где это. Брук не подписала. Брук никогда не подписывала, и от этого казалось, что у неё есть какая-то вторая жизнь, о которой Лили ничего не знает.

А у Лили вчера вечером был ужин — мамины энчилады — и сериал на ноутбуке, и домашка по алгебре, которую она так и не доделала.

Она выключила экран. Полежала в темноте. Включила снова.

За окном шёл дождь. Тот снег, который выпал на прошлой неделе и из-за которого целых два дня не было школы, давно растаял, превратился в серую кашу у обочин, а потом и каша куда-то стекла. Сиэтл снова был мокрым, тёмным, ноябрьским. Капли бежали по стеклу, обгоняя друг друга.

* * *

Дом у Рейес был маленький — одноэтажный, с крыльцом, с которого облезала краска, и с кривой яблоней во дворе, которая каждую осень роняла кислые яблоки прямо на машину соседа. В доме было две спальни, гостиная, совмещённая с кухней, и ванная, в которой надо было поворачивать кран горячей воды сначала влево, а потом резко вправо, иначе шла ледяная. Папа обещал починить. Папа всё обещал починить, и обычно чинил, просто не сразу.

На кухне было пусто. Мама ушла в 5:30 — у неё смена в приюте начиналась в шесть, и ей надо было успеть на два автобуса. В раковине стояли две кружки, папина и мамина, с остатками кофе на дне. На столе — контейнер с обедом, завёрнутый в полотенце. Рядом лежала жёлтая бумажка-стикер.

«Надень куртку, дождь. В контейнере рис с курицей, разогрей в школе. Люблю. Мама».

Лили взяла стикер двумя пальцами, посмотрела на него и прилепила на дверцу холодильника. Там их было уже много — штук тридцать, а может, больше, целая жёлтая чешуя поверх фотографий и магнитиков. «Надень шапку». «Не забудь про стоматолога в четверг». «Купила твой любимый йогурт, он на второй полке». «Удачи на контрольной! Ты умница». «Надень куртку». «Надень куртку». «Люблю».

Мама писала их каждый день. Лили давно перестала читать их до конца. Она знала, что там будет.

Она открыла холодильник, посмотрела внутрь, ничего не взяла, закрыла.

Потом было зеркало в ванной и утюжок для волос. Это была битва, которую Лили вела каждое утро и каждое утро проигрывала. Волосы у неё были мамины: густые, тёмные, тяжёлые, и в сыром сиэтлском воздухе они начинали виться через двадцать минут после того, как она выходила из дома. Она проводила утюжком прядь за прядью, и в ванной пахло горячим, чуть палёным. Лили смотрела на себя в зеркало и видела то, что видела всегда: слишком широкие брови, слишком круглые щёки, нос, который, если смотреть сбоку, был немного похож на папин. Ей хотелось быть похожей на Брук. У Брук было узкое лицо, светлые волосы, которые сами по себе лежали прямо, и такая кожа, будто её никогда не касался дождь.

Лили накрасила ресницы. Подвела глаза. Стёрла стрелку, потому что одна получилась выше другой. Нарисовала снова. Потом опять стёрла.

В 7:35 она выскочила из дома с мокрыми от спешки руками, с телефоном в кармане и без куртки, потому что куртка была дурацкая — пухлая, тёмно-синяя, купленная два года назад на распродаже, и в ней она была похожа на баклажан.

Контейнер с рисом остался на столе.

* * *

Лили ездила в школу на обычном городском автобусе — сорок минут с пересадкой. Она садилась у окна, на одно и то же место, третье с конца, затыкала уши наушниками и смотрела на дождь.

Телефон у неё был старый. Не совсем старый — папа купил его ей на тринадцатилетие, и тогда он был почти новый, — но год назад она уронила его на асфальт, и по правому верхнему углу экрана побежала паутинка трещин. Лили купила чехол с блёстками — розовыми, переливающимися, — и он закрывал трещину почти целиком, если держать телефон правильно. Она научилась держать его правильно. Она научилась фотографировать так, чтобы угол не попадал в зеркало. Она научилась, если кто-то просил посмотреть, протягивать телефон другой стороной.

Новый телефон стоил девятьсот долларов. Лили знала эту цифру так же хорошо, как свою дату рождения. Она знала и другую цифру: сколько папа получает за смену. Ей не нужно было считать, чтобы понять, что это не вариант.

Она не просила. Она никогда не просила. Но иногда, когда папа спрашивал, что ей подарить на Рождество, она говорила «да ничего, пап» таким голосом, что он потом весь вечер молчал.

В автобусе пахло мокрыми куртками и чьим-то кофе. Напротив сидела женщина в форме медсестры и спала, уронив голову на стекло. Рядом с ней стоял пожилой мужчина с тростью и держался за поручень. Лили посмотрела на него, подумала, что надо бы уступить место, — и снова уткнулась в телефон.

В телефоне Брук выложила новую историю. Её мама, улыбающаяся, в белом свитере, стоит у окна с кружкой. Подпись: «моя королева».

Лили смотрела на эту фотографию и чувствовала что-то, чему не знала названия. Не зависть, нет. Что-то вроде обиды, но непонятно на кого. На мир, который почему-то раздал кому-то белые свитеры, большие окна и высокие этажи, а кому-то — дом с облезлым крыльцом и холодильник в жёлтых бумажках.

Мама Брук работала риелтором и ездила на белом внедорожнике. Мама Лили работала поваром в приюте и ездила на двух автобусах.

Лили никому в школе не говорила, где работает её мама. Если спрашивали, она говорила: «В общепите». Это было правдой. Почти.

* * *

Брук ждала её у шкафчиков, как всегда.

Они дружили с четвёртого класса — с того дня, когда Брук пришла новенькой, никого не знала и села на обеде за стол к Лили, потому что больше было некуда. Тогда у Брук были брекеты и короткая стрижка, и она плакала в туалете, потому что мальчики дразнили её «железной челюстью». Лили отдала ей половину своего сэндвича и сказала, что брекеты — это круто, потому что потом будут идеальные зубы. Брук запомнила. Брекеты сняли в шестом классе. Зубы действительно стали идеальными.

— Ты видела? — Брук схватила её за руку, едва Лили подошла. — Ты видела вчерашнее?

— Видела, — сказала Лили. — Где это было?

— «Скай Вью». Сорок седьмой этаж. Папа водил нас с мамой. Там такой вид — ты бы умерла. Весь залив, все паромы, а внизу город как игрушечный.

— Круто, — сказала Лили.

— А потом мы ещё пошли в одно место, там десерты по двадцать долларов, но они того стоят. — Брук достала телефон — новый, тонкий, цвета пыльной розы, без единой царапинки — и начала листать фотографии. — Вот, смотри. Это крем-брюле. А это, видишь, они поливают шоколадом прямо при тебе, и он плавит шарик…

Лили смотрела. Шарик плавился. Брук смеялась. Её волосы лежали идеально, хотя на улице было так же сыро, как и везде.

— Надо как-нибудь вместе сходить, — сказала Брук. — Ты и я.

— Ага, — сказала Лили. — Как-нибудь.

Она знала, что двадцать долларов за десерт — это примерно столько, сколько мама тратила в день на продукты для всей семьи. Она ничего не сказала.

Первым уроком была химия. Лили не сделала домашку, мистер Карлсон поставил ей минус, она пожала плечами. Вторым — английский. Читали «Убить пересмешника», и Лили на самом деле книга нравилась, но она не подняла руку, хотя знала ответ. Поднимать руку было не круто.

На большой перемене, в столовой, за соседним столом сидела Мэдисон.

Мэдисон Грир была королевой восьмого класса. Никто её не выбирал, никто не голосовал — так просто получилось, как получается погода. Она была красивая той красотой, которая кажется дорогой: гладкие светлые волосы, маленький нос, белые кроссовки, которые всегда оставались белыми, даже в ноябре. Вокруг неё всегда сидело человек пять, и все они смеялись, когда она смеялась, и молчали, когда она молчала.

Она могла сделать человека невидимым одной фразой. Лили видела, как это случалось с другими. Сначала Мэдисон говорила что-нибудь — вроде бы безобидное, вроде бы шутку. Все смеялись. А потом этого человека просто… переставали замечать. Не звали. Не отвечали в чате. Не садились рядом. Как будто его стёрли ластиком.

Лили больше всего на свете не хотела, чтобы её стёрли.

— Рейес, — сказала Мэдисон, когда Лили проходила мимо с подносом. Сказала не громко, лениво, не поворачивая головы. — Классные кроссы. Это из «Росс»?

«Росс» был магазином уценённых вещей. Кроссовки действительно были оттуда. Мама купила их в августе, к школе, за двадцать два доллара, и Лили тогда была рада, потому что они были почти как настоящие.

За столом Мэдисон хихикнули.

Лили почувствовала, как кровь бросилась ей в лицо — в щёки, в уши, даже, казалось, в глаза.

— Не, — сказала она и сама удивилась, как легко это вышло. — Это сестра из Лос-Анджелеса прислала. Там сейчас все такие носят.

У Лили не было сестры. Ни в Лос-Анджелесе, ни где-либо ещё.

Мэдисон посмотрела на неё. Долго, секунды три. Потом пожала плечами и отвернулась, и разговор за столом покатился дальше, к чему-то другому.

Лили села за свой стол рядом с Брук. Руки у неё слегка дрожали. Она поставила поднос и поняла, что есть совсем не хочется. Она вспомнила, что контейнер с маминым рисом остался дома на столе, и почему-то от этого стало ещё хуже.

На последнем уроке было рисование.

Миссис Окафор, учительница, была высокая женщина с седыми дредами, собранными в узел, и десятком деревянных браслетов на запястьях, которые постукивали, когда она двигалась. Она дала задание нарисовать «то, что ты видишь из окна». Лили нарисовала карандашом вид из окна автобуса: мокрое стекло, капли, а сквозь капли — размытые огни улицы, и в одной капле, если присмотреться, крошечное отражение девочки в наушниках.

Миссис Окафор остановилась у её парты и долго стояла молча. Браслеты не стучали.

— Лили, — сказала она наконец. — Это очень хорошо. Ты видишь, что ты сделала с этой каплей? Это то, чему нельзя научить.

Лили пожала плечами.

— Просто быстро набросала.

— Ты подумай о летней программе в художественной школе. Я могу написать тебе рекомендацию.

— Ага, — сказала Лили. — Подумаю.

Она не собиралась думать. Летняя программа стоила денег, а рисование было не тем, о чём рассказывают в чате. Когда прозвенел звонок, она сунула рисунок в рюкзак не глядя, и он там помялся.

* * *

Домой она ехала в темноте. В ноябре в Сиэтле темнело к пяти, и к тому времени, как автобус выбирался из пробки на мосту, за окнами уже горели фонари, и стекло превращалось в зеркало.

Лили сидела на своём месте у окна и смотрела в телефон. Брук выложила ещё одну историю: опять кафе, опять десерт, подпись «вторник тоже заслуживает праздника». Мэдисон выложила фото своих белых кроссовок на мокром асфальте. Под фотографией было уже сто двенадцать сердечек.

Лили пролистывала, и пролистывала, и с каждым движением пальца её собственная жизнь становилась всё меньше, тусклее, всё больше похожей на этот автобус: мокрый, тесный, пахнущий чужими куртками, едущий по одному и тому же маршруту каждый день.

Автобус качнулся на повороте. Лили подняла глаза от экрана и посмотрела в окно.

В чёрном стекле отражался салон: жёлтые поручни, усталые лица, спящий подросток в капюшоне, женщина с пакетами. И её собственное лицо, бледное, подсвеченное снизу телефоном.

А за её плечом, совсем близко, стоял мужчина.

Он был очень высокий — его голова уходила за край отражения, выше поручней, выше потолка, как будто автобус был ему мал. Тёмное пальто. Белая полоска воротника. Лица Лили не разглядела — только смутное пятно, словно стекло в этом месте запотело. Он стоял неподвижно и, кажется, смотрел туда же, куда смотрела она, — в её телефон.

И ей почудилось, что он наклонился к самому её уху и сказал тихо, вежливо, как говорят продавцы в дорогих магазинах:

— Посмотри туда.

Лили резко обернулась.

За её спиной было пусто. Сиденье позади занимала старушка в вязаной шапке, которая дремала, прижимая к себе сумку. Проход был свободен до самых дверей. Никакого мужчины. Никакого пальто.

Лили посмотрела снова в окно. Теперь там отражались только поручни и старушка.

Она моргнула. Наверное, показалось. Наверное, это был просто кто-то, кто вышел на остановке. Она вставила наушники поглубже и снова уткнулась в экран.

В экране была Брук. И Мэдисон. И сорок седьмой этаж, и десерты по двадцать долларов, и белые кроссовки, которые не пачкаются.

Она смотрела туда до самой своей остановки.

* * *

Папа спал на диване.

Он всегда спал на диване, когда возвращался со смены, — в рабочей форме, в носках, с пультом в руке, — потому что если ложился в кровать, то не мог потом встать до утра. Телевизор работал без звука. Шёл какой-то матч, маленькие фигурки бегали по зелёному полю.

Лили прошла мимо на цыпочках, но папа всё равно проснулся. Он всегда просыпался, когда она приходила, — даже если она старалась тихо.

— Mija, — сказал он хрипло и сел, потирая лицо ладонями. Ладони у него были огромные, шершавые, с въевшейся в складки чернотой, которая не отмывалась. — Пришла.

— Пришла.

— Ты без куртки, что ли?

— Пап.

— Ладно, ладно. — Он поднял руки, сдаваясь. Помолчал. Потом сказал, как-то немного неуверенно, будто долго это обдумывал: — Слушай. В субботу у меня первый рейс в пять двадцать. Помнишь, ты маленькая со мной ездила? Садилась на переднее сиденье, а я тебе показывал, где какие огни. Ты ещё называла его «ночной автобус», хотя он был утренний. Может… поедешь? Как раньше. Я тебе какао в термос налью.

Лили посмотрела на него. Он сидел на диване, большой, сонный, в мятой форме, и улыбался — неуверенно, с надеждой, как улыбаются люди, которые заранее знают ответ, но всё равно спрашивают.

— Пап, — сказала она. — Мне не пять лет. И в пять утра в субботу я сплю.

Улыбка у него не исчезла. Она просто немного уменьшилась, как огонёк зажигалки на ветру.

— Конечно, — сказал он. — Конечно. Я так. Просто.

Он снова лёг и уставился в телевизор, где беззвучно бегали маленькие фигурки.

* * *

Мама пришла в семь.

Лили услышала, как хлопнула дверь, как мама охнула, снимая ботинки, — у неё болели ноги после целого дня у плиты, — как зашуршали пакеты с продуктами. Потом её голос на кухне, что-то папе, тихо. Потом шаги к комнате Лили. Стук.

— Лили? Можно?

— Угу.

Мама открыла дверь. Она была ещё в фартуке — забыла снять в приюте, — и от неё пахло луком, хлебом и чем-то сладким. Лицо у неё было усталое, с красными пятнами на щеках от жара плиты. В руке она держала контейнер. Тот самый.

— Ты обед не взяла.

— Забыла.

— Ты что, весь день ничего не ела?

— Ела.

— Что ела?

— Мам. Ела, и всё.

Мама посмотрела на неё внимательно, как смотрела, когда Лили была маленькой и врала, что почистила зубы.

— И опять без куртки ходила, да? Папа сказал. Лили, ноябрь же. Ты простынешь, и что потом? Я не могу брать больничный, у меня…

— Можно я сама буду решать, что мне надевать?

Лили сказала это громче, чем собиралась. Намного громче. Слова выскочили сами, острые, как осколки, и полетели в маму, и Лили видела, как они попадают.

Мама замолчала.

Она постояла в дверях с контейнером в руке. Потом медленно кивнула.

— Ладно, — сказала она тихо. — Ладно. Ужин через полчаса.

И закрыла дверь — аккуратно, придерживая ручку до самого конца, точно так же, как закрывал её по утрам папа.

Лили сидела на кровати и смотрела на закрытую дверь. В груди у неё было горячо и противно. Она знала, что была неправа. Знала. Но почему-то от этого знания хотелось не извиниться, а разозлиться ещё сильнее.

Она взяла телефон.

* * *

Поздно вечером, когда в доме уже погасили свет, Лили лежала в темноте и не спала.

Через тонкую стену из кухни доносились голоса. Родители всегда разговаривали на кухне по вечерам, когда думали, что она спит. Тихо, по-испански, вперемешку с английским. Лили обычно не слушала. Но сегодня было так тихо, что слова сами проходили сквозь стену.

— …раньше она меня обнимала, — сказала мама. — Когда я приходила. Помнишь? Бежала к двери, ещё в пижаме. «Мамочка пришла». А сейчас… Хави, она на меня смотрит, как будто я ей мешаю.

Пауза. Звякнула ложка о кружку.

— Ей четырнадцать, — сказал папа. — Перерастёт.

— А если нет?

— Перерастёт, Мари. Мы же переросли.

Мама ничего не ответила. Лили слышала, как она встала, как полилась вода в раковину, как застучали тарелки. Мама всегда мыла посуду, когда ей было плохо.

Лили лежала и смотрела в потолок. В горле стоял комок. Она вдруг очень отчётливо вспомнила, как это было: стук двери, мамины холодные с улицы руки, запах хлеба от её куртки, и как она утыкалась маме в живот, а мама смеялась и говорила: «Задушишь, задушишь».

Ей захотелось встать. Прямо сейчас. Пойти на кухню, в пижаме, босиком, как раньше. Ничего не говорить — просто обнять маму сзади, пока та моет тарелки.

Она даже откинула одеяло.

И тут телефон на тумбочке завибрировал.

Брук: «ты спишь??? мне надо тебе кое-что рассказать срочно







»

Лили взяла телефон. Начала печатать. Брук прислала скриншот, потом ещё один, потом голосовое. Кто-то из девятого класса что-то кому-то написал, и это была катастрофа, и это надо было обсудить немедленно.

На кухне выключили воду. Щёлкнул выключатель. Шаги — мамины, тяжёлые, усталые — прошли мимо её двери по коридору и затихли в спальне.

Лили не заметила.

Она переписывалась с Брук до половины первого. Потом положила телефон под подушку и подумала, засыпая, что завтра обязательно обнимет маму. Утром. Перед школой.

Утром, когда она проснулась, мамы уже не было. На столе стоял контейнер с обедом. На контейнере — жёлтый стикер.

«Надень куртку. Люблю. Мама».

Лили прилепила его на холодильник, к остальным.

О том, что собиралась сделать, она уже не вспомнила.

Глава 3. Две серые галочки

Клэр Хейл забыла перчатки в аудитории.



Она поняла это на остановке, когда полезла в карман за телефоном и нащупала только фантик и чек из кофейни. Перчатки — шерстяные, связанные бабушкой, тёмно-зелёные с белой полоской — остались лежать на парте в корпусе дизайна, рядом с недоеденным яблоком. Возвращаться было далеко, через весь кампус, под дождём, который уже начинал превращаться во что-то колючее и белёсое.

Клэр сунула руки в рукава свитера и решила, что как-нибудь переживёт.

Был конец октября, семь вечера, и Юниверсити-дистрикт светился, как аквариум. Студенты с рюкзаками бежали под навесы. В окнах раменных и кофеен запотевали стёкла. На углу парень в дождевике играл на саксофоне что-то грустное, и его футляр, раскрытый на тротуаре, медленно наполнялся водой и мелочью. Клэр любила этот район вечером. Ей казалось, что здесь у всех вокруг жизнь только начинается, и у неё тоже.

Ей было девятнадцать. Она училась на втором курсе факультета дизайна Вашингтонского университета и жила в общежитии на Норт-Кампус, в комнате с девочкой из Айдахо, которая каждый вечер звонила маме по видеосвязи. Клэр носила огромные свитера, которые закрывали ей пальцы, и кольца — по кольцу на каждом пальце, разные, серебряные и медные, купленные на блошиных рынках. У неё были светлые волосы и веснушки, как у деда, и узкие тёмные глаза, как у бабушки. В детстве её из-за этого дразнили, а теперь говорили, что у неё «интересное лицо». Клэр не знала, что лучше.

Автобус опаздывал. Табло на остановке показывало «12 мин», потом «14 мин», потом просто мигало. Ветер бросал в лицо мелкие ледяные крупинки. Клэр переступала с ноги на ногу и дышала себе в ладони.

— Держи.

Она обернулась. Рядом стоял парень. Высокий, в чёрной куртке с поднятым воротником, мокрые тёмные волосы прилипли ко лбу. Он протягивал ей пару перчаток — кожаных, потёртых, больших.

— Что? — сказала Клэр.

— Перчатки. У тебя руки синие. Я смотрю на тебя уже пять минут, и мне холодно уже за двоих.

— А ты?

— А я горячий парень. — Он ухмыльнулся, и ухмылка у него была кривая, с одной стороны выше, чем с другой. — Серьёзно, бери. Я работаю в автомастерской, у меня руки привыкли к холоду. Ну, к холоду и к машинному маслу.

Клэр взяла перчатки. Они были тёплые изнутри — ещё хранили тепло его рук — и пахли кожей, бензином и чем-то хвойным. Пальцы утонули в них по самые костяшки.

— Спасибо, — сказала она. — Я верну.

— Конечно, вернёшь. — Он засунул голые руки в карманы куртки. — Как ты их вернёшь, если не знаешь, кто я?

Она посмотрела на него. Он смотрел на неё. Ледяная крупа сыпалась между ними, искрясь в свете фонаря.

— Хорошо, — сказала Клэр. — Кто ты?

— Джейк.

— Клэр.

— Клэр, — повторил он, как будто пробовал слово на вкус. — Клэр, у тебя есть телефон?

Автобус пришёл через две минуты. Джейк ехал в другую сторону. Он стоял на остановке и махал ей, пока автобус не свернул за угол, и Клэр видела его в заднее стекло — маленькую тёмную фигуру с поднятой рукой, без перчаток, под ледяным дождём.

Она сидела в автобусе, держала руки в его перчатках на коленях и не могла перестать улыбаться.

* * *

Он написал через сорок минут. Клэр к тому времени уже была в общежитии, лежала на кровати, а соседка в наушниках рассказывала маме про какую-то контрольную.

«Перчатки как, греют?»

Она ответила. Он ответил. Она ответила снова.

В мессенджере было так устроено: когда ты отправлял сообщение, рядом с ним появлялись две маленькие серые галочки. Это значило, что сообщение дошло. А когда человек его прочитывал, галочки становились синими. Клэр всегда это знала, но никогда раньше не смотрела на них. А в тот вечер она смотрела только на них.

Две серые галочки. Дошло. Ждать.

Синие. Прочитал.

Строчка вверху: «печатает…»

И сердце подпрыгивало, как будто сейчас откроется дверь.

Они переписывались до трёх часов ночи. Он рассказал, что ему двадцать два, что он работает в автомастерской в Фримонте и что хозяин мастерской — старый ворчливый вьетнамец, который называет все машины «она» и разговаривает с ними, как с капризными дамами. Что его мама — медсестра, работает в ночные смены, и он с четырнадцати лет сам готовил себе ужин. Что отец ушёл, когда ему было девять, и он с тех пор не видел его ни разу. Это Джейк написал коротко, одной строчкой, и сразу перешёл к другому, и Клэр почувствовала, что спрашивать не надо.

Он рассказал, что мечтает о своей мастерской. Не здесь — в Лос-Анджелесе. Где солнце триста дней в году и где люди ездят на машинах, ради которых стоит вставать по утрам. Он

присылал ей фотографии этих машин — старых, блестящих, с хромированными бамперами, — и подписывал: «Вот такую я когда-нибудь восстановлю. Красную. И прокачу тебя по побережью».

Она рассказала про дизайн, про то, что хочет делать обложки для книг и афиши для театров. Про бабушку, которая когда-то учила её играть на пианино, и про то, что она бросила через полгода и до сих пор жалеет. Про деда, который почти сорок лет ходил в море на краболовах и до сих пор, когда идёт дождь, говорит, что это «не погода, а так, умывание».

«Ты так рассказываешь про них, — написал Джейк. — Будто они самые классные люди на свете».

«Они правда классные», — написала Клэр.

И тут же подумала, что не была у них с сентября. И что бабушка звонила в прошлое воскресенье, а она сбросила, потому что сидела в кафе с девочками, и написала: «Ба, перезвоню». И не перезвонила.

Но Джейк уже прислал следующее сообщение, и она забыла.

* * *

— Ну, рассказывай, — сказала Тесса и подпёрла подбородок обеими руками.

Они сидели в «Цветочной лавке» — крошечной кофейне на Авеню, где работала Тесса. Сейчас у неё был перерыв, и она, не снимая зелёного фартука, плюхнулась за их столик у окна с огромной кружкой какао со взбитыми сливками.

Тесса была громкой. Всегда. Она смеялась так, что оборачивались посетители, она носила оранжевые кеды и красила волосы то в розовый, то в фиолетовый, и сейчас они были цвета бледной сирени. Она училась в местном колледже на медсестру и работала в кофейне четыре смены в неделю, потому что её мама одна тянула их с младшим братом. Тесса не жаловалась. Тесса вообще никогда не жаловалась. Она говорила: «Жизнь — это сериал, и я в нём главная героиня, так что пусть сценаристы стараются».

— Рассказывать нечего, — сказала Клэр и тут же покраснела.

— О-о-о, — протянула Тесса. — Нина, ты видишь? Она покраснела. Она красная, как пожарная машина.

Нина сидела напротив и улыбалась. Нина улыбалась всегда немного — уголками губ, будто знала про тебя что-то хорошее и пока не решила, говорить ли. Они с Клэр дружили со второго класса. С того дня, когда Клэр на перемене упала с качелей, разбила коленку и ревела на весь двор, а Нина — тихая девочка с двумя толстыми косичками, которую тогда никто не замечал, — молча села рядом на землю, достала из кармана пластырь с динозавриком и приклеила ей на коленку. Клэр потом спросила: «Ты всегда носишь пластыри?» Нина сказала: «Всегда. Кто-нибудь обязательно падает».

Нина училась на социальную работу. По субботам она ездила в приют «Хиллсайд» на окраине и читала там детям книги. Клэр однажды поехала с ней, и ей там было тяжело — эти дети смотрели на тебя так, будто ты сейчас уйдёшь, и ты действительно уходила, — и больше она не ездила. А Нина ездила каждую субботу уже два года.

— Его зовут Джейк, — сказала Клэр. — Он дал мне свои перчатки.

— Свои перчатки, — повторила Тесса тоном, каким говорят «свою почку». — Боже. Где он? Я хочу на него посмотреть. Он красивый?

— Не знаю. Да. Наверное.

— «Наверное»! — Тесса закатила глаза. — Нина, она пропала. Мы её теряем.

— Не теряем, — сказала Клэр. — Я просто… мы переписываемся. Вот и всё.

Телефон на столе завибрировал. Клэр посмотрела на экран — и всё её лицо изменилось, будто в комнате включили свет.

Тесса и Нина переглянулись.

— Теряем, — тихо сказала Нина. Но улыбалась.

* * *

Первый раз они гуляли через неделю.

Джейк заехал за ней на своей машине — старой серой «Хонде» с вмятиной на двери, которую он, по его словам, «вот-вот починит». Они поехали в парк Газ-Воркс. Было холодно и ясно, и над озером Юнион висела почти полная луна. Ржавые конструкции старого газового завода чернели на фоне неба, как скелеты огромных зверей. Через воду светился весь город: небоскрёбы, Спейс-Нидл, огни на мостах. Где-то крякали утки.

Они поднялись на холм и сели на холодную траву. Джейк принёс плед — колючий, клетчатый, пахнущий его машиной — и накинул им обоим на плечи. Они сидели плечом к плечу и смотрели на огни.

— Я сюда в детстве с мамой приезжал, — сказал Джейк. — Когда она не работала по ночам. Она говорила: «Смотри, Джейки, это наш город. Когда-нибудь у тебя будет в нём всё, что захочешь».

— А у тебя есть?

— Пока нет. — Он подобрал с травы камешек и бросил вниз по склону. — Пока у меня есть мастерская, где я чиню чужие машины, однокомнатная квартира над прачечной и «Хонда» с вмятиной. — Он помолчал. — И перчатки, которые ты мне так и не вернула.

Клэр засмеялась.

— Я их ношу.

— Я знаю. Это моя тактика. Пока перчатки у тебя, тебе придётся со мной встречаться.

— А если я верну?

Он повернулся к ней. Луна светила ему в лицо, и Клэр впервые увидела, что глаза у него не тёмные, как она думала, а серо-зелёные, с жёлтыми искорками около зрачка.

— Тогда, — сказал он серьёзно, — мне придётся придумать что-нибудь ещё.

Он поцеловал её. Губы у него были холодные, а дыхание тёплое, и пахло от него мятной жвачкой и немного машинным маслом. Где-то внизу крякнула утка, и они оба засмеялись, не отрываясь друг от друга.

Потом он отвёз её в общежитие. И они переписывались до четырёх.

* * *

В воскресенье днём позвонила бабушка.

Клэр как раз красила ногти, сидя на кровати по-турецки, и телефон лежал рядом на подушке. На экране высветилось: «Ба». И маленькая фотография — бабушка с дедушкой на крыльце их дома в Балларде, бабушка в своём сером кардигане, дедушка в вечной синей вязаной шапке рыбака, оба щурятся на солнце.

Клэр посмотрела на свои мокрые ногти. Потом на телефон. Звонок продолжался.

«Перезвоню, — подумала она. — Ногти высохнут, и перезвоню».

Она нажала на красный значок мизинцем, самым кончиком, чтобы не смазать лак, и быстро напечатала: «Ба, я перезвоню!»

Ответ пришёл через минуту:

«Хорошо, солнышко. Мы с дедушкой тебя целуем. Он спрашивает, когда ты приедешь. Испечь тебе пирог с ежевикой?»

«Скоро! — ответила Клэр. — Обязательно! Целую!»

И поставила три сердечка.

Ногти высохли через двадцать минут. К тому времени Джейк прислал фотографию красной машины, которую ему пригнали на ремонт, — «ну почти такая, как я хочу, смотри!» — и Клэр ответила, и он ответил, и день покатился дальше, лёгкий, звонкий, весь состоящий из галочек — серых, синих, серых, синих.

Она не перезвонила.

В доме в Балларде бабушка Мэгги ещё немного посидела у телефона. Потом поставила чайник. Дедушка Уолтер, не поднимая глаз от газеты, спросил:

— Ну что?

— Перезвонит, — сказала Мэгги.

— Конечно, — сказал Уолтер. — Молодые.

И перевернул страницу.

* * *

В ночь, когда над Сиэтлом впервые за три года пошёл снег, Клэр не спала.

Она сидела на подоконнике в общежитии, завернувшись в одеяло, и смотрела, как снежинки кружатся в свете фонарей над кампусом. Соседка давно спала, посапывая. На коленях у Клэр лежал телефон.

Она напечатала: «Смотри, снег!»

Стёрла. Слишком по-детски.

Напечатала: «Ты видишь, что творится?



»

Стёрла. Вдруг он спит.

Напечатала: «Я думаю о тебе».

Долго смотрела на эти три слова. Сердце колотилось.

Отправила.

Две серые галочки.

Она сидела, смотрела на них и не дышала. Снег падал за окном, тихий, медленный, будто кто-то на небе разрывал белый лист на мелкие кусочки и пускал их по ветру.

Галочки стали синими.

«печатает…»

Клэр прижала телефон к груди и улыбнулась так, будто впереди у неё была вся жизнь.

Впрочем, так оно и было.

* * *

В ту же ночь, в круглосуточной кофейне на Авеню, через три квартала от общежития, сидел единственный посетитель.

Он сидел у окна, за столиком в углу, и перед ним стояла чашка чая, к которой он не притронулся. Чай давно остыл. Бариста — сонный парень в очках — несколько раз собирался спросить, не нужно ли ему ещё что-нибудь, но так и не спросил. Почему-то не хотелось подходить к этому столику. Почему-то ему казалось, что в том углу холоднее, чем во всей кофейне.

Посетитель был в тёмном пальто. На столе перед ним лежал маленький блокнот в кожаной обложке, и он что-то в нём писал — неторопливо, ровным почерком с наклоном вправо.

Потом поднял голову и посмотрел в окно — туда, где за снегопадом, за деревьями кампуса, в одном из окон общежития светился голубоватый прямоугольник экрана.

Он смотрел туда долго. Внимательно. Почти с нежностью.

Потом закрыл блокнот.

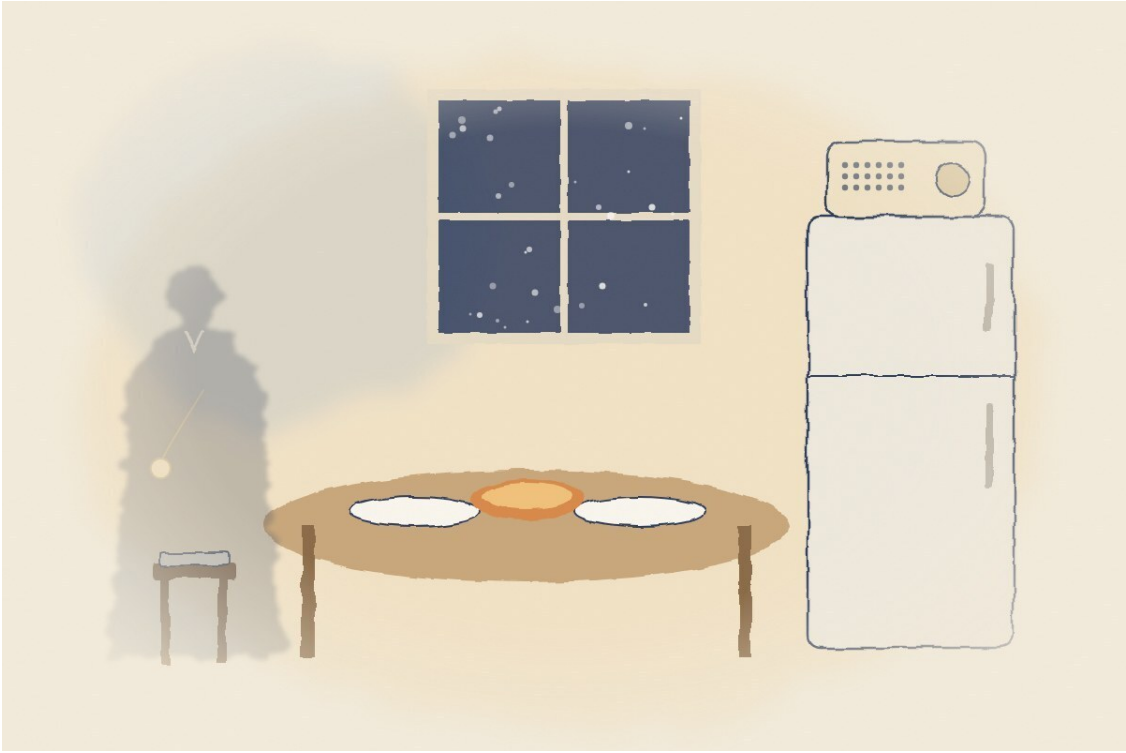
— Рано, — сказал он негромко.

Когда бариста наконец решился подойти, за столиком никого не было. Только чашка холодного чая — полная до краёв.

И ни одного следа на свежем снегу у двери.

Глава 4. Ужин в 19:40

Рейчел Хейл знала, что Дэниел придёт в 19:40.



Не потому, что он так сказал. Он давно ничего не говорил о том, когда придёт. Просто за последние два года это время стало таким же постоянным, как прилив: если он не задерживался на совещании, то выезжал из офиса в 18:55, полчаса стоял в пробке на мосту, ещё десять минут искал место для парковки возле их таунхауса на склоне Куин-Энн, и ровно в 19:40 в замке поворачивался ключ.

Поэтому запеканку она поставила в духовку в 19:05.

Это была его любимая запеканка: картофель, курица, грибы, сливки, сверху сыр, который должен покрыться коричневыми пузырями. Рецепт ей дала Мэгги, свекровь, двадцать лет назад, в первый год их брака. Мэгги тогда сказала: «Уолтер возвращался из рейса, и я всегда готовила это. Он говорил, что это вкус дома». Рейчел записала рецепт в блокнот с ромашками на обложке. Блокнот до сих пор лежал в ящике кухонного стола, распухший, с загнутыми страницами, в жирных пятнах.

За окном падал снег. Впервые за три года. Рейчел стояла у плиты и смотрела, как он кружится в свете фонаря над улицей, и как оседает на крышах припаркованных машин, и как соседский кот, выйдя на крыльцо, брезгливо трясёт лапой. Ей хотелось кому-нибудь сказать: «Смотри, снег». Но дома никого не было.

Клэр жила в общежитии с прошлого года. Её комната на втором этаже стояла пустая, с плакатами на стенах и с плюшевым тюленем на подушке, которого она не взяла с собой, потому что «мам, мне девятнадцать». Рейчел иногда заходила туда, садилась на кровать и сидела. Просто так.

Она достала тарелки. Две. Поставила на стол. Разложила приборы. Помедлила — и достала из шкафа подсвечник, тот самый, свадебный, серебряный, с двумя рожками. Поставила его посередине. Зажгла свечи.

Потом посмотрела на них и задула.

Не надо. Он придёт уставший. Подумает, что что-то случилось. Начнёт спрашивать, какой сегодня день, не забыл ли он про годовщину или про чей-то день рождения. Будет неловко.

Она убрала подсвечник обратно в шкаф.

На холодильнике стоял радиоприёмник. Старый, кремового цвета, с круглой ручкой настройки и решёткой динамика, похожей на соты. Они купили его на гаражной распродаже в свою первую осень, когда снимали крошечную квартиру в Фримонте с окнами на мост. В той квартире не было телевизора, и по вечерам они включали радио. Там была одна станция — она передавала старые песни, тягучие, медленные, под которые танцевали их родители. И когда звучала какая-нибудь из этих песен, Дэниел вставал из-за стола, протягивал ей руку и говорил: «Мадам, позвольте».

И они танцевали на кухне. Шесть квадратных метров, плита, раковина и они двое — босиком, в носках, неуклюже, смеясь, наступая друг другу на ноги.

Радио переехало с ними в этот дом. Оно стояло на холодильнике уже восемь лет. Рейчел не помнила, когда последний раз его включали. Наверное, когда переезжали — проверить, работает ли.

Работает ли оно сейчас, она не знала.

* * *

В 19:40 повернулся ключ.

Дэниел вошёл, стряхивая с плеч снег. Высокий, широкоплечий, начинающий полнеть в талии — пиджак, когда-то сидевший как влитой, теперь натягивался на пуговице. Тёмные волосы с проседью на висках. Лицо, которое многие называли открытым, — сейчас усталое, серое, с тенями под глазами. В руке телефон. Телефон в руке у него был всегда. Рейчел иногда думала, что, если бы ей пришлось нарисовать мужа по памяти, она нарисовала бы его с телефоном, как святого с атрибутом.

— Снег, — сказал он вместо приветствия. — Представляешь? Мост стоял сорок минут.

— Видела, — сказала Рейчел. — Красиво.

— Красиво, — согласился Дэниел, не поднимая глаз от экрана. — Только половина города разучилась ездить.

Он разулся, бросил портфель на стул в прихожей, прошёл на кухню и сел за стол. Телефон положил рядом с тарелкой, экраном вверх.

Рейчел вынула запеканку из духовки. Сыр покрылся коричневыми пузырями — идеально. Она положила ему большой кусок, себе — поменьше, и села напротив.

Дэниел взял вилку. Экран телефона засветился — пришло сообщение. Он прочитал его, не беря телефон в руки, только наклонив голову. Нахмурился. Начал есть, всё ещё глядя на экран.

— Вкусно, — сказал он.

— Это мамин рецепт.

— М-м.

Он ел быстро, сосредоточенно, как едят люди, которые думают о другом. Рейчел смотрела, как он подносит вилку ко рту, жуёт, глотает. Её собственный кусок лежал на тарелке нетронутый.

— У нас сегодня в клинике, — сказала она, — была одна пациентка. Миссис Альварес. Ей восемьдесят шесть, она ходит к кардиологу раз в месяц. И сегодня она принесла печенье. Для

всех — для врачей, для регистратуры, для меня. Сама испекла. Сказала, что это потому, что у неё сегодня день рождения, а праздновать не с кем, вот она и решила отпраздновать с нами.

— М-м, — сказал Дэниел.

— Мы спели ей «С днём рождения». Всей регистратурой. Она плакала.

Экран телефона снова засветился. Дэниел взял его в руку, пролистал что-то большим пальцем.

— Угу, — сказал он. — Здорово.

Рейчел замолчала.

Она сидела и смотрела, как муж читает. Он читал, и лицо у него было такое, будто ему показывали что-то очень неприятное. Губы сжаты. Между бровями складка, глубокая, как надрез.

Она не знала, что он читает. Она давно не знала, что он читает.

А Дэниел читал корпоративную рассылку. Тема письма была нейтральной, почти скучной: «Об оптимизации структуры отдела продаж в первом квартале». В самом письме не было ни слова о сокращениях. Там были слова «синергия», «эффективность» и «новый этап развития». Но Дэниел работал в этой компании одиннадцать лет и знал, что эти слова означают. Они означали, что в январе из сорока человек в отделе останется двадцать пять. Может быть, двадцать.

Ему было сорок шесть. На его машину был кредит, на дом — ипотека, а на обучение Клэр — ещё один кредит. Молодые менеджеры в отделе были вдвое дешевле его и втрое быстрее печатали. На прошлой неделе один из них, двадцатишестилетний парень по имени Тайлер, назвал его на планёрке «нашим ветераном». Все засмеялись. Дэниел тоже засмеялся.

Он ничего не рассказывал жене. Ни про письмо, ни про Тайлера, ни про то, что последние три недели просыпается в четыре утра и лежит, глядя в потолок, считая платежи. Ему казалось, что, пока он не произнёс это вслух, этого нет. А ещё ему казалось, что мужчина в его возрасте, с его должностью и с его машиной, не должен приходить домой и говорить жене: «Мне страшно».

Отец никогда так не говорил. Отец уходил в Берингово море на три месяца, на краболове, где волны бывают высотой с дом, и возвращался, и ни разу, ни единого раза за всё детство Дэниела не сказал, что ему было страшно.

Дэниел пролистал письмо до конца, закрыл, открыл соцсети. Там Грег, его однокурсник, выложил фотографию: новый дом на Бейнбридж-Айленд, стеклянная стена с видом на залив, а у причала — собственная яхта. Подпись: «Мечты сбываются, если работать ради них».

Дэниел смотрел на фотографию и чувствовал, как внутри что-то тихо скисает.

Они с Грегом учились на одном курсе. Дэниел был лучше. Все так говорили. Он лучше сдавал экзамены, лучше выступал, его первым взяли на стажировку. А Грег после университета ушёл в какой-то стартап, который все считали ерундой, и стартап выстрелил, и теперь у Грега была яхта.

А у Дэниела была ипотека, письмо про «оптимизацию» и тарелка запеканки.

Он поднял глаза от телефона и вдруг увидел, что его тарелка пуста. Он даже не заметил, как всё съел. Он не помнил вкуса.

Напротив сидела Рейчел. Её тарелка стояла нетронутая. Она смотрела в окно, на снег.

Дэниел посмотрел на неё. На её короткую стрижку, которую она сделала прошлой весной и о которой он так ничего и не сказал. На тонкую шею. На руки, лежащие на столе, — маленькие, с аккуратными коротко подстриженными ногтями. На ту самую запеканку. Мамину. Его любимую.

Она приготовила её специально. Он вдруг понял это. Она знала, что сегодня будет тяжело ехать, что будет снег, что он будет вымотанный. И приготовила.

Надо было сказать. Надо было сказать: «Спасибо. Это было очень вкусно. Я люблю тебя». Или хотя бы: «Как у тебя прошёл день?» — и в этот раз по-настоящему послушать.

Слова уже были где-то совсем близко, в горле.

И тут ему показалось, что на табуретке у плиты кто-то сидит.

Он не повернул голову. Он увидел это краем глаза — так видишь кошку, которая проходит по комнате, пока ты читаешь. Высокая тёмная фигура, сидящая очень прямо, положив руки на колени. Неподвижная, как будто она давно здесь сидит. Как будто она живёт здесь.

И голос — не снаружи, а словно изнутри, из его собственной головы, только чужой, вежливый, спокойный:

— Она и так знает.

Дэниел моргнул. Повернулся. Табуретка у плиты была пустая. На ней лежало кухонное полотенце.

Наверное, это полотенце. Он устал.

В самом деле, подумал он. Она же знает. Двадцать лет вместе. Не нужно говорить такие вещи каждый день. Это и так понятно.

Он встал, отнёс тарелку в раковину и включил воду.

— Спасибо, — сказал он через плечо. — Пойду ещё поработаю. Завтра планёрка.

И ушёл в кабинет.

* * *

Поздно вечером позвонила Мэгги.

Дэниел сидел в кабинете перед ноутбуком, в котором была открыта таблица с цифрами продаж за квартал. Цифры были неплохими. Но не настолько хорошими, чтобы его не сократили.

На экране телефона высветилось «Мама». Он посмотрел на него две секунды, потом взял.

— Привет, мам.

— Дэнни. — Голос у Мэгги был тихий, ровный, с той особой интонацией, которая осталась у неё с тех времён, когда она учила детей играть гаммы. — Я тебя не отвлекаю?

— Нет, — сказал Дэниел и закрыл таблицу. — Всё нормально. Как вы?

— Хорошо. У нас снег, представляешь? Папа весь вечер стоит у окна, как мальчишка. Говорит, последний раз такой снег был в восемьдесят пятом, когда ты лепил крепость во дворе и разбил соседу окно.

Дэниел не помнил этого. Он помнил, что разбил окно. Но не помнил, чтобы отец был рядом. Отец тогда, кажется, был в рейсе.

— Смешно, — сказал он.

— Дэнни, я что хотела. — Мэгги помолчала. — Вы не заедете в субботу? Я испеку пирог. Папа… папа хочет тебя видеть. Он не скажет, ты же знаешь его. Но хочет.

— Конечно, мам, — сказал Дэниел. — Заедем.

— Правда?

— Конечно. Если ничего не случится. Я позвоню в субботу утром.

— Хорошо. — В голосе матери было что-то, чего он не услышал. Или услышал, но не захотел понимать. — Хорошо, сынок. Мы будем ждать.

— Целую, мам. Привет папе.

Он положил трубку и снова открыл таблицу.

В субботу утром ему пришлось ехать в офис на срочную встречу с региональным директором. Он не позвонил. В воскресенье вспомнил и подумал, что позвонит вечером. Вечером он заснул перед телевизором.

Но это было потом.

* * *

В одиннадцать Рейчел легла.

Она лежала на своей стороне кровати, на боку, лицом к окну, и смотрела, как падает снег. Спальня была на третьем этаже, под самой крышей, и из окна было видно полгорода: огни Куин-Энн, тёмную воду залива, белые крыши.

Дэниел пришёл в половине первого. Она слышала, как он чистит зубы. Как проверяет будильник на телефоне. Как ложится — осторожно, чтобы не потревожить её, — на свою сторону, на самый край, спиной к ней.

Между ними на простыне лежала полоса пустоты. Широкая — в неё поместился бы ещё один человек.

Когда-то они спали, обнявшись. Он говорил, что не может уснуть, если не чувствует её рядом. Потом стали спать просто рядом. Потом — спиной к спине. Это происходило так медленно, что ни один из них не мог бы назвать день, когда это случилось.

Рейчел лежала и смотрела в темноту. Ей хотелось повернуться к нему. Положить руку ему на плечо. Сказать: «Дэн. Что с тобой? Ты третью неделю сам не свой». Или просто: «Я соскучилась». Это было бы так легко. Повернуться. Протянуть руку.

Ей вспомнилось, как он сегодня ел — не глядя, не чувствуя вкуса. Как сказал «угу» про миссис Альварес. Как ушёл в кабинет.

И она не повернулась.

Дэниел тоже лежал без сна. Он лежал и смотрел на стену, на которой от уличного фонаря дрожала тень оконной рамы. Он думал о письме. О Тайлере. О яхте Грега. О ипотеке. Ему хотелось повернуться к жене и сказать: «Рейч. Мне страшно». Это было бы так легко.

И он не повернулся.

Так они и лежали — двое людей, которые двадцать лет назад танцевали босиком на кухне размером шесть квадратных метров, — спиной друг к другу, в одной кровати, каждый на своём краю, и каждый думал, что другой спит.

Внизу, на тёмной кухне, на табуретке у плиты, сидел гость.

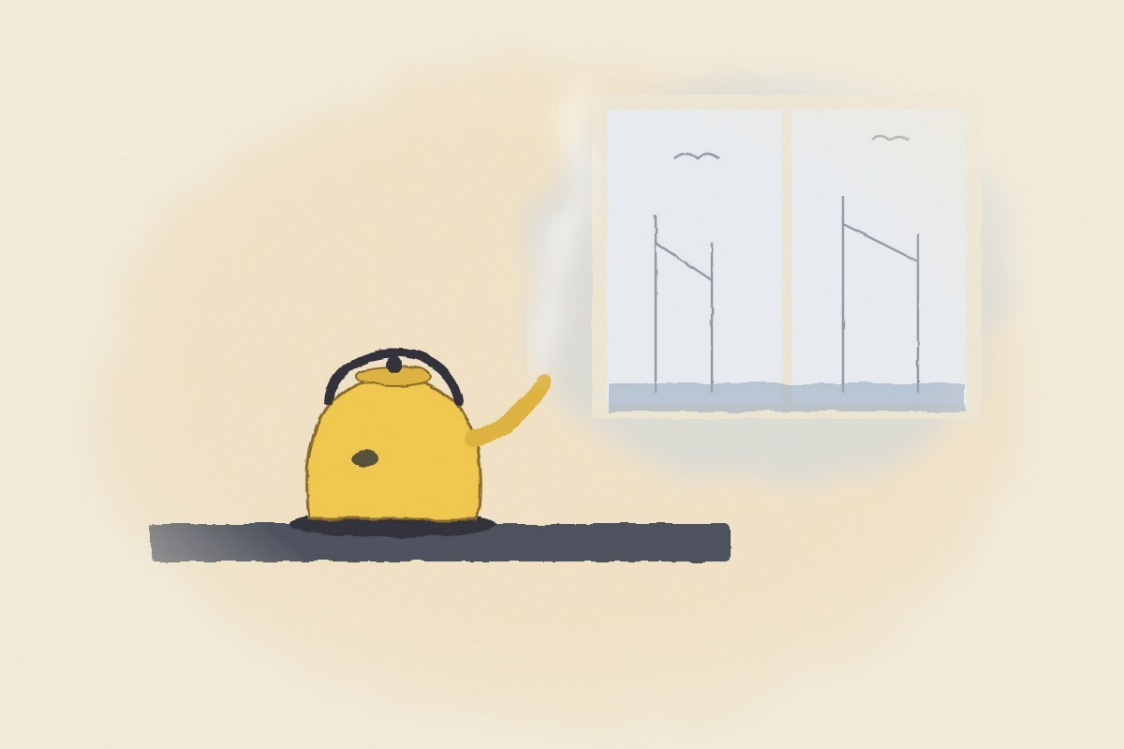
Он сидел очень прямо, положив руки в перчатках на колени, и смотрел на радиоприёмник на холодильнике. Кремовый корпус. Круглая ручка. Решётка, похожая на соты. Он смотрел на него долго, задумчиво, как смотрят на вещь, которую собираются купить и прикидывают, сколько она стоит.

Потом он чуть заметно улыбнулся. Встал. Поправил полотенце на табуретке — аккуратно, уголок к уголку.

И что-то тихо звякнуло у него во внутреннем кармане пальто.

Глава 5. Чайник

Чайнику было сорок лет.



Он был эмалированный, жёлтый, с чёрной ручкой и с маленьким отбитым пятнышком на боку, похожим на остров на карте. Уолтер купил его в 1985 году в хозяйственном магазине на Маркет-стрит, потому что старый чайник Мэгги забыла на плите и он сгорел. Уолтер тогда сказал, что купил «самый крепкий чайник в Сиэтле, такой переживёт нас обоих». Мэгги смеялась. Ей было тридцать пять, ему тридцать восемь, и слово «переживёт» казалось шуткой.

Чайник пережил три плиты, две протечки на кухне и одно землетрясение, во время которого упал на пол и только обзавёлся этим пятнышком. Свистел он до сих пор: сначала тихо, как будто сомневаясь, потом всё увереннее, а потом во весь голос.

Каждое утро в семь часов Уолтер Хейл ставил его на огонь.

Это был его ритуал. Он вставал раньше Мэгги — всю жизнь вставал раньше, моряцкая привычка, тело так и не научилось спать после пяти, — надевал клетчатый халат, тёплые носки, которые Мэгги связала ему ещё лет десять назад и которые он штопал сам, и спускался на кухню. Включал свет. Наливал воду. Ставил чайник.

Потом подходил к окну и стоял, пока чайник не засвистит.

Из окна их кухни был виден причал. Дом у Хейлов был маленький, двухэтажный, обшитый белыми досками, которые Уолтер перекрашивал каждые пять лет, — и стоял на склоне в старой части Балларда, там, где улицы спускаются к воде. В ясные дни отсюда были видны мачты рыбацких лодок у Фишерменс-Терминал, серые крыши ангаров и чайки, которые с утра кричали так, будто у них отняли что-то важное. В туманные дни не было видно ничего, кроме белой ваты. Уолтер смотрел и на вату тоже.

Когда чайник свистел, Уолтер всегда говорил одно и то же. Негромко, себе под нос:

— Ну, вот и день.

Мэгги слышала это сверху, из спальни. Сорок лет подряд. «Ну, вот и день». Иногда она думала, что, если когда-нибудь не услышит этих слов, сразу поймёт, что что-то случилось. Потом гнала эту мысль.

* * *

В ту субботу снег ещё не растаял. Он лежал на крышах соседних домов и на перилах крыльца тонким, уже подтаявшим слоем, и с карнизов капало. Небо было белым.

Уолтер стоял у окна в халате и смотрел на заснеженный причал. Ему было семьдесят восемь лет. Он был невысокий, коренастый, с широкими покатыми плечами, которые не согнули ни годы, ни штормы, и с лицом, на котором ветер Берингова моря за тридцать восемь лет нарисовал целую карту: морщины, складки, белые полоски старых обморожений на скулах. Пальцы у него были толстые, узловатые, а на ладонях до сих пор виднелись шрамы от тросов. Волосы, когда-то соломенные, давно стали белыми и жидкими, и он прятал их под синей вязаной шапкой рыбака, которую не снимал даже дома.

Он кашлял. Не сильно — коротко, глухо, отворачиваясь к окну, чтобы не было слышно наверху. Он бросил курить двадцать лет назад, но кашель остался, как остаются после отлива на песке следы волн.

Сердце у него было плохое. Врач в Харборвью сказал это ещё два года назад, показывал какие-то снимки, говорил какие-то слова — «стеноз», «фракция выброса». Уолтер кивал и думал о том, что в 1979 году его краболов «Марта Ли» попал в шторм у острова Святого Матвея, и волна сорвала с палубы двоих, и одного так и не нашли, и после этого его уже трудно напугать снимками.

Но таблетки он пил. Каждый вечер, перед сном, и ещё ночью, если сердце начинало стучать неровно. Мэгги думала, что он пьёт их только вечером. Он не говорил ей про ночные. Он спускался на кухню, высыпал таблетки на ладонь и запивал их водой, стараясь не греметь стаканом.

Он не знал, что Мэгги всё равно слышит. Что она лежит наверху без сна и слушает, как он старается.

Чайник засвистел.

— Ну, вот и день, — сказал Уолтер.

* * *

Мэгги спустилась через десять минут. Она всегда спускалась уже одетой, причёсанной, с собранными в узел седыми волосами, будто собиралась не на кухню, а на урок. Сорок лет в школе приучили её к тому, что на людях нельзя появляться небрежно, а муж, как она однажды сказала, «это самые главные люди, которые у меня есть».

Ей было семьдесят шесть лет. Тонкая, прямая, с маленькими точными руками пианистки, с тёмными узкими глазами, которые за очками казались ещё внимательнее. На запястье — старые часики на тонком кожаном ремешке. Уолтер подарил их ей в августе 1971 года, в день свадьбы, и с тех пор она их не снимала. Ремешок меняли раз двадцать. Часы — никогда.

На столе её уже ждали чашка чая, тарелка с овсянкой — Уолтер варил её на молоке, с изюмом и щепоткой корицы, — и тапочки. Тапочки стояли у её стула, тёплые, потому что Уолтер каждое утро грел их на батарее, пока закипал чайник.

Он делал это больше пятидесяти лет. Ещё с тех пор, как они снимали комнату над лодочной мастерской, где зимой изо рта шёл пар.

— Доброе утро, Маргаритка, — сказал он.

Он всегда звал её Маргариткой. Никто больше так её не звал. Её отец звал её Маргарет, коллеги — миссис Хейл, Дэниел — мамой, внучка — Ба. И только Уолтер — Маргариткой, с первого вечера, когда пригласил её танцевать в старом зале в Балларде и сказал, что она похожа на этот цветок: «Маленькая, белая и упрямая».

— Доброе утро, — сказала Мэгги и сунула ноги в тёплые тапочки.

Они завтракали молча. Им не нужно было разговаривать за завтраком. За пятьдесят с лишним лет они наговорились — и научились молчать так, что молчание тоже было разговором. Уолтер читал газету — бумажную, он не признавал «экраны». Мэгги смотрела в окно. Чайник остывал на плите.

На стене тикали часы. Старые, с маятником, в деревянном корпусе. Они достались Уолтеру от его отца, норвежского рыбака, который приплыл в Сиэтл в 1923 году с одним сундуком и этими часами. Часы отставали на четыре минуты в сутки, и каждое воскресенье Уолтер подводил их. Он говорил, что это хорошо: «Значит, у нас в доме каждую неделю на полчаса больше, чем у всех остальных».

На стенах висели фотографии. Свадьба — Мэгги в простом белом платье, без фаты, Уолтер в одолженном у брата костюме, оба совсем юные, оба серьёзные, будто их фотографировали для паспорта. Дэниел в год, в пелёнках, с перепуганным лицом. Дэниел в пять, на велосипеде. Дэниел на выпускном. Дэниел и Рейчел на свадьбе. Клэр — маленькая, круглая, на руках у деда, и дед смеётся, запрокинув голову. Клэр с бабушкой за пианино, ей шесть лет, у неё бант.

Пианино стояло в гостиной. Старое, чёрное, с пожелтевшими клавишами. Мэгги не открывала его уже несколько лет. Пальцы стали неточными, артрит, и ей было невыносимо слышать, как из-под них выходят не те звуки. Крышка была закрыта, и на ней лежала кружевная салфетка, а на салфетке стояла ваза с сухими цветами.

А на шкафу в прихожей лежал аккордеон Уолтера. Красный, перламутровый, в потёртом чехле. Когда-то, давно, Уолтер играл на нём на всех праздниках, и на свадьбах друзей, и на палубе, когда возвращались из рейса. У аккордеона западали две клавиши — ре и соль. Уолтер всё собирался их починить.

Он собирался уже двадцать лет.

* * *

— Дэнни звонил? — спросил Уолтер, не поднимая глаз от газеты.

Он спрашивал это как бы между прочим. Как спрашивают о погоде. Но Мэгги знала его больше полувека и слышала всё, что пряталось за этим «между прочим».

— Пока нет, — сказала она. — Он сказал, позвонит утром.

— Утро ещё не кончилось, — сказал Уолтер и перевернул страницу.

В духовке стоял пирог. Мэгги испекла его вчера вечером — с ежевикой, той самой, которую они собирали в августе на пустыре за домом и морозили в пакетах. Это был пирог, который любил Дэниел. Это был пирог, который любила Клэр. Это был пирог, который в их семье пекли для тех, кого ждали.

Уолтер сложил газету. Встал. Подошёл к окну и постоял. Потом зачем-то поправил на подоконнике горшок с геранью. Потом вернулся к столу и сел.

Кухня у них была маленькая, и стол — маленький, квадратный, на четверых. Уолтер всегда сидел у окна. Мэгги — напротив, спиной к плите. Третий стул, между ними, у стены, когда-то был стулом Дэниела. На нём до сих пор была выцарапана перочинным ножиком буква «Д». Дэниелу тогда было девять, и Уолтер, вернувшись из рейса, увидел это и хотел наказать, а потом почему-то не стал.

На этом стуле давно никто не сидел. Дэниел, когда приезжал, — а приезжал он теперь редко, раз в два-три месяца, — садился на табуретку у двери, ненадолго, «на минутку, мам, мне ещё в одно место». Клэр садилась на подоконник. Третий стул так и стоял пустой, задвинутый под стол, и на его сиденье лежала вязаная подушечка, которую никто не трогал.

Мэгги посмотрела на него.

И на секунду ей показалось, что стул не пустой.

Что на нём кто-то сидит. Высокий — очень высокий, его голова почти упиралась в лампу над столом. Очень прямо, положив руки на колени. Тёмный, как будто сотканный из тени. Он

сидел спокойно, как сидят гости, которые пришли давно и никуда не торопятся. И смотрел — не на неё, а на дверь. На ту дверь, в которую сегодня никто не войдёт.

Мэгги сняла очки. Протёрла их краем кофты. Надела снова.

Стул был пустой. Тень от занавески, сдвинутой ветром из приоткрытой форточки, лежала на его спинке, длинная и колеблющаяся.

— Что? — спросил Уолтер, заметив её взгляд.

— Ничего, — сказала Мэгги. — Показалось.

Она встала и закрыла форточку. Тень исчезла.

Но в кухне почему-то пахло остывшим чаем, хотя чайник был горячий.

* * *

В одиннадцать Мэгги стала собираться.

Каждую субботу, уже два года, она ездила на сорок восьмом автобусе через весь город, в приют «Хиллсайд», и вела там музыкальный кружок. Бесплатно. Её попросила об этом молоденькая девушка из волонтёрской организации, и Мэгги сначала отказалась — ей было семьдесят четыре, у неё болели пальцы, она больше десяти лет как вышла на пенсию. Но девушка сказала: «Там двенадцать детей. Многие из них не знают ни одной песни. Ни одной колыбельной». И Мэгги поехала.

В приюте было старое электрическое пианино, на котором половина клавиш не работала. Мэгги не играла на нём — она учила детей петь. Простые песни, народные, старые. Она стучала ритм карандашом по крышке и пела сама тихим, чуть надтреснутым, но всё ещё верным голосом. И дети пели за ней. Сначала неохотно, стесняясь, хихикая. Потом громче.

Был там один мальчик. Десяти лет, худой, большеголовый, с оттопыренными ушами, которые краснели, когда он волновался. Ноа. Он сидел всегда в первом ряду, и когда Мэгги начинала петь, он смотрел на неё так, как смотрят на костёр в холодную ночь.

У него был голос. Мэгги поняла это на первом же занятии. Не громкий — тихий, тонкий, но чистый, как вода в горном ручье. Он попадал в каждую ноту с первого раза, как будто знал их заранее. И когда он пел, он закрывал глаза.

На прошлой неделе, после занятия, он подошёл к ней и спросил, шёпотом, чтобы никто не слышал:

— Миссис Хейл, а можно петь песню, если у неё нет слов?

— Конечно, можно, — сказала Мэгги. — А у тебя есть такая песня?

Он кивнул. Покраснел до кончиков ушей.

— Я её сам придумал. Она… как снег. Как будто кружится.

— Споёшь мне когда-нибудь?

— Когда-нибудь, — сказал Ноа и убежал.

Мэгги думала об этом мальчике всю неделю. Она думала, что, может быть, весной попросит директора разрешить ей заниматься с ним отдельно. Может быть, найдёт ему настоящего учителя. Может быть…

Она стояла в прихожей, застёгивая пальто, и вдруг сказала, не оборачиваясь:

— Уолт. Если Дэнни позвонит…

— Скажу, что ты в приюте, — сказал Уолтер из кухни. — Иди. Не опоздай.

Она вышла.

Уолтер остался один. Он сидел на кухне, у окна, и смотрел на телефон, который лежал на столе экраном вверх. Старый, с кнопками, другого он не признавал. Телефон молчал.

Потом он встал, достал из духовки пирог, отрезал себе маленький кусочек — самый краешек, с подгоревшей корочкой, — и съел его стоя, у окна. Остальное накрыл полотенцем.

Телефон молчал весь день.

Вечером, когда Мэгги вернулась, Уолтер сидел в гостиной перед выключенным телевизором. Пирог стоял на кухне, нетронутый, под полотенцем.

— Не звонил? — спросила Мэгги.

— Работа, — сказал Уолтер. — У него работа, Маргаритка. Ты же знаешь.

Он сказал это спокойно, без обиды. Он сказал это так, как говорят о погоде. И Мэгги вдруг подумала, что когда-то, почти сорок лет назад, она сама говорила эти слова маленькому Дэниелу. «Папа не придёт на твой концерт, сынок. У папы работа. Ты же знаешь».

Она ничего не сказала. Прошла на кухню, поставила чайник.

Третий стул стоял у стены, задвинутый под стол, с вязаной подушечкой на сиденье.

Она не смотрела на него. Она очень старалась на него не смотреть.

Опись I

Из книги Хранителя. Ноябрь. Город Сиэтл, штат Вашингтон.

Изъято:

— Одно утро, лучшее в жизни владельца (мальчик, 10 лет). Изъято частично, в течение одного вечера. Владелец утраты не заметил.

— Одна мелодия без слов, напеваемая владельцем ежедневно. Приостановлена. Срок возобновления не установлен.

— Одно объятие (девочка, 14 лет — мать). Отложено «на завтра». Завтра наступило. Объятие не востребовано.

— Одно «да, пап, поеду». Заменено на «мне не пять лет». Хранится в отдельной коробке вместе с термосом какао, который не был налит.

— Одна жёлтая записка «Люблю. Мама». Не прочитана до конца. Тридцать четыре аналогичные записки находятся на хранении у владелицы, на дверце холодильника. Изъятию не подлежат до тех пор, пока не будут прочитаны. Ожидаю.

— Одно «спасибо, это было очень вкусно» (мужчина, 46 лет — жена). Оставлено владельцем при себе по причине «она и так знает». Изъято в 19:58.

— Одна история про миссис Альварес и печенье (женщина, 43 года). Рассказана, но не услышана. Приравнивается к нерассказанной.

— Одно прикосновение к плечу. Два прикосновения к плечу. Одна фраза «мне страшно». Одна фраза «я соскучилась». Изъяты одновременно из одной кровати, с разных её краёв.

— Одна суббота (мужчина, 78 лет). Проведена в ожидании звонка. Звонок не поступил. Изъята целиком. Остаток: один кусок пирога с ежевикой, съеденный стоя у окна.

— Один звонок бабушке (девушка, 19 лет). Отложен на двадцать минут, пока сохнет лак. Лак высох.

По городу в целом за месяц: рассветов, не увиденных из-за облачности, — 27. Рассветов, не увиденных при ясной погоде, — 3. Все три изъяты.

Не изъято:

— Одна снежинка на оконном стекле. Шесть лучей, в середине звезда. Существовала около трёх секунд. Увидена владельцем полностью, от начала до конца.

Причина: замечена.

Хранитель

Глава 6. Как это было с ним

В семь лет Коул Брэдли знал о мире три вещи.



Первая: если у мамы на кухонном столе стоит бутылка с жёлтой этикеткой, значит, вечером она будет плакать, а утром не встанет.

Вторая: чайки любят хлеб больше, чем крошки от чипсов, а голуби — наоборот.

Третья: если быть очень хорошим — убирать за собой, не шуметь, приносить маме цветы, не просить есть, когда она спит, — то когда-нибудь бутылки с жёлтой этикеткой перестанут появляться на столе.

Третью вещь он знал твёрже всего.

Они жили в трейлере у старых доков в Южном Сиэтле, там, где за сетчатым забором ржавели списанные контейнеры, а по ночам гудели краны, разгружая корабли. Трейлер был белый когда-то, а теперь серый, с синей полосой, которая облупилась. Внутри пахло сыростью, сигаретами и духами с запахом ванили, которые мама брызгала на себя, когда собиралась на работу. Мама работала официанткой в закусочной у шоссе — иногда. Когда не болела.

Маму звали Шерил. У неё были светлые, почти белые волосы и большие серые глаза, и, когда она смеялась, она запрокидывала голову и хлопала себя по коленке. Коул обожал, когда она смеялась. Он мог сделать что угодно, чтобы она засмеялась: строил рожи, падал понарошку, пел песни из мультиков задом наперёд. Иногда получалось.

По утрам, если мама спала, он сам наливал себе хлопья — без молока, потому что молоко обычно кончалось, — и шёл к докам. Там, у забора, где волны хлюпали о бетонную стенку причала, жили чайки. И голуби. И один старый пеликан, которого никто, кроме Коула, не видел, потому что пеликанов в Сиэтле не бывает. Но Коул его видел. Честное слово.

Он кормил их хлебом, который откладывал с ужина. Он давал им имена. Самую наглую чайку, с обломанным пером в хвосте, звали Капитан. Голубя с белым пятном на голове — Пятнышко. Он разговаривал с ними. Рассказывал им про маму, про то, что вчера она снова плакала, и про то, что он нашёл на дороге одуванчик, сорвал и принёс ей, а она поставила его в стакан и сказала: «Ты мой самый лучший мальчик на свете».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.